

НЕДОРАЗУМЕНИЕ В МОСКВЕ

СИМОНА ДЕ БОВУАР

КНИГА ПЕРЕВЕДЕНА НА 19 ЯЗЫКОВ И ВПЕРВЫЕ ИЗДАНА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ. СОВЕТСКАЯ РОССИЯ И СОБСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ — ГЛАЗАМИ СИМОНЫ ДЕ БОВУАР, ПИСАТЕЛЯ, ФИЛОСОФА, ФЕМИНИСТКИ.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР·ЧИТАЕТ ВЕСЬ МИР

Недоразумение в Москве
Симона де Бовуар

Аннотация
Симона де Бовуар. Недоразумение в Москве

Аннотация

Симона де Бовуар – личность неординарная. Философ, писатель, икона феминистского движения, подруга жан-Поля Сартра, с которым ее связывали сложные отношения. «Недоразумение в Москве» расскажет много нового о Бовуар, в том числе о ее взглядах на отношения и семью. Отчаянная феминистка, декларировавшая свободу от семейных уз, возможно, нуждалась в этих узах не меньше любой другой, «обычной» женщины. Итак, Николь и Андре, немолодая супружеская чета, приезжают в советскую Москву. Здесь у Андре живет подруга Маша (у этой героини есть прототип – переводчица Лена Зонина, подруга Сартра). Глядя на Машу, выросшую в стране, где женщины – неизвестно, к счастью или к сожалению, – добились равноправия, Николь вспоминает собственную молодость. Визит в Москву – повод перебрать по эпизодам их супружескую жизнь с Андре, многое переоценить. Но – увы! – время вспять не повернешь, и Николь понимает, что с возрастом так и не преодолела страх перед

жизнью, которой боится едва ли не больше смерти, и не стала по-настоящему счастлива.

Симона де Бовуар
Недоразумение в Москве

Она подняла глаза от книги. Какая скука эта вечная песня о некоммуникабельности! Если хочешь общаться, худо-бедно общаешься. Ладно, не со всеми, но с двоими-троими уж точно. На соседнем сиденье Андре читал «Черную серию»[1]. Она скрывала от него настроения, сожаления, мелкие заботы; наверно, были и у него свои маленькие тайны, но, в общем, они знали друг о друге все. Она покосилась в иллюминатор: насколько хватает глаз, темные леса и светлые луга. Сколько раз они вместе рассекали пространство на поезде, на самолете, на корабле, сидя рядом с книгами в руках? Еще не раз они будут вот так же молча скользить бок о бок по морю, по земле и по воздуху. В этих минутах присутствовали сладость воспоминания и радость обещания. Тридцать им или шестьдесят? Волосы Андре рано поседели; прежде это выглядело кокетливо: снег, припорошивший темную шевелюру, подчеркивал матовую свежесть лица. Это и сейчас было кокетством. Лицо окаменело и растрескалось от морщин, как старая кожа, но улыбка и глаза сохранили свой свет. Как ни изобличал его альбом с фотографиями, сквозь мо-

[1] Примечания: 1
Популярная во Франции серия детективных романов. — *Прим. перев.*

лодой образ все равно просвечивало сегодняшнее лицо: для Николь у него не было возраста. Наверно, потому, что он о своем возрасте как будто и не вспоминал. Он, так любивший в свое время бегать, плавать, лазать и смотреться в зеркала, нес свои шестьдесят четыре года беззаботно. Долгая жизнь, смех и слезы, гнев, объятия, признания, молчания, порывы… Порой казалось, что время остановилось. А будущее простиралось до бесконечности.

— Спасибо.

Николь выудила конфету из корзинки, робея перед внушительной фигурой стюардессы и ее суровым взглядом, как робела три года назад перед официантками в ресторанах и горничными в гостинице. Никакой дежурной любезности, обостренное сознание своих прав, достойная позиция — но перед ними чувствуешь себя виноватой или, по крайней мере, какой-то подозрительной.

— Мы подлетаем, — сказала она.

С некоторой опаской смотрела Николь на приближающуюся землю. Бесконечное будущее — которое могло разбиться с минуты на минуту. Ей были хорошо знакомы эти перепады — от блаженного чувства безопасности к пронзающему

страху: начнется третья мировая война, Андре заболеет раком легких: две пачки сигарет в день — это много, слишком много, или самолет разобьется о землю. Это был бы хороший конец: вместе и без мучений; но пусть это случится не так скоро, не сейчас. «Еще раз спасены», — сказала она себе, когда шасси ударилось — немного резко — о посадочную полосу. Пассажиры надевали пальто, собирали вещи. Топтались на месте в ожидании. Топтаться пришлось долго.

— Чувствуешь, как пахнут березы? — сказал Андре.

Было свежо, почти холодно: шестнадцать градусов, сообщила стюардесса. В трех с половиной часах полета Париж был близко, но все же далеко — Париж, пахнувший сегодняшним утром асфальтом и грозой, придавленный первой жарой этого лета… Как близко был Филипп, как далеко… Автобус привез их — через летное поле, которое оказалось гораздо просторнее того, на котором они приземлились в 63-м, — к стеклянному зданию в форме гриба, где проверяли паспорта. На выходе их ждала Маша. Николь снова удивилась ее лицу — гармонично слитым воедино таким несхожим чертам Клер и Андре. Тоненькая, элегантная, только прическа, перма-

нент, выдавала в ней москвичку.

— Как долетели? Как себя чувствуете? Как ты себя чувствуешь?

Она обращалась на «ты» к отцу, но на «вы» к Николь. Это было нормально и все же как-то странно.

— Дайте мне эту сумку.

Это тоже было нормально. Но мужчина несет ваши сумки, потому что вы женщина, женщина же — потому что она моложе вас. И от этого вы сразу чувствуете себя старой.

— Дайте мне багажные квитанции и присядьте вон там, — властно продолжала Маша.

Николь повиновалась. Старая. Рядом с Андре она часто об этом забывала, но тысячи мелких царапин вновь и вновь напоминали ей о возрасте. «Красивая молодая женщина», — подумала она, глядя на Машу. Ей вспомнилось, как она улыбнулась в свои тридцать, когда ее свекор произнес эти слова в адрес сорокалетней особы. Теперь ей тоже большинство людей казались молодыми. Старая. Смириться с этим ей было трудно (одна из редких вещей, которыми она не делилась с Андре: это скорбное ошеломление). «Есть все же и преимущества», — сказала она себе. На пенсии — звучит почти как на свал-

ке. Однако приятно устроить себе каникулы, когда хочется; точнее сказать, быть постоянно на каникулах. В раскаленных классах школы ее коллеги только начинали мечтать об отпуске. А она уже уехала. Она поискала глазами Андре, стоявшего в толпе рядом с Машей. В Париже его окружало слишком много людей. Испанские политзаключенные, португальские узники, преследуемые израильтяне, мятежные конголезцы, ангольцы, камерунцы, партизаны из Венесуэлы, Перу, Колумбии — всех не упомнить, — он всегда был готов прийти им на помощь по мере сил. Собрания, манифесты, митинги, листовки, делегации — он брался за любое дело. Он принадлежал к множеству всевозможных объединений, комитетов. А здесь никто не будет на него претендовать. Они знали только Машу. Им нечего больше делать, кроме как смотреть на разные интересные вещи вместе: она любила открывать новое с ним, чтобы само время, застывшее в долгом однообразии их счастья, вновь обретало искрометную новизну. Она встала. Ей уже хотелось выйти на улицу, пройтись под стенами Кремля. Она забыла, как долго в этой стране приходится ждать.

— Ну где же он, наш багаж?

— Придет, никуда не денется, — сказал Андре.

Три с половиной часа, думал он. Как близко Москва и в то же время как далеко! В трех с половиной часах лета видеть Машу так редко? (Но столько препятствий, и, прежде всего, стоимость билетов!)

— Три года — это долго, — произнес он. — Ты, должно быть, находишь, что я постарел.

— Ничего подобного. Ты совсем не изменился.

— А ты еще больше похорошела.

Он смотрел на дочь с восхищением. Вот так думаешь, что ничего больше не может с тобой случиться, смиришься с этим (что было нелегко, хотя он ничем этого не выдал), и вдруг огромная, совсем новая нежность озаряет твою жизнь. Его мало интересовала робкая девочка — тогда ее звали Марией, — которую Клер привозила к нему на несколько часов из Японии, Бразилии, Москвы. Она осталась ему чужой и когда, уже молодой женщиной, приехала после войны в Париж, чтобы познакомить его со своим мужем. Но во второй приезд Маши, в 60-м, между ними что-то произошло. Он толком не понимал, почему она так крепко привязалась к нему, но его это всколыхнуло. Любовь Николь оставалась живой, чуткой, благодатной; но они слишком привыкли

друг к другу, чтобы Андре мог вызвать в ней эту отчаянную радость, преобразившую сейчас жестковатое лицо Маши.

— Ну где же он, наш багаж? — спросила Николь.

— Придет, никуда не денется.

К чему нервничать? Здесь время им было отмерено с лихвой. В Париже Андре постоянно сверялся с часами, он разрывался между встречами, особенно с тех пор, как вышел на пенсию: он переоценил масштаб своего досуга. Из любопытства, по беспечности взял на себя тьму обязательств, от которых теперь никак не мог отделаться. На целый месяц он будет от них свободен; он сможет жить в беззаботности, которую так любил, — слишком любил, ибо от нее-то и рождалось большинство его забот.

— Вот и наши чемоданы, — сказал он.

Они погрузили их в машину Маши, и она села за руль. Ехала она медленно, как и все здесь. Дорога пахла свежей зеленью, флотилии стволов плыли по Москве-реке, и Андре чувствовал, как поднимается в нем это волнение, без которого жизнь для него казалась пресной: начиналось приключение, возбуждавшее его и пугавшее одновременно, приключение открытия. Карьера

его никогда не заботила, и, если бы мать не билась так властно за то, чтобы он продолжал учебу, его вполне устроил бы удел родителей: они учительствовали под солнцем Прованса. Ему казалось, что истина его жизни и его самого ему не принадлежит: она была неприметно рассыпана по всей земле; чтобы познать ее, надо было вопрошать разные века и разные края; вот потому-то он любил историю и путешествия. Но прошлое через призму книг он изучал безмятежно, в то время как приближение незнакомой страны — превосходившей своим изобилием жизни все, что он мог знать о ней, — всегда кружило ему голову. И эта страна затрагивала его больше любой другой. Он был воспитан в культе Ленина; его мать в восемьдесят три года еще была активисткой в рядах компартии; сам он в нее не вступил; но, на волнах надежд и уныния, всегда думал, что СССР владеет ключами от будущего, а стало быть, от этой эпохи и его собственной судьбы. Однако же никогда, даже в черные годы сталинизма, он не чувствовал, что так плохо эту страну понимает. Откроет ли ему глаза нынешняя поездка? В 63-м они путешествовали как туристы — Крым, Сочи, — поверхностно. На этот раз он будет расспрашивать,

попросит читать ему газеты, смешается с толпами. Машина выехала на улицу Горького. Люди, магазины. Сумеет ли он почувствовать себя здесь как дома? Мысль, что это ему не удастся, повергала его в панику. «Надо было серьезнее заняться русским!» — сказал он себе. Вот и это тоже он обещал себе сделать, но не сделал: не продвинулся дальше шестого урока методики «Ассимиль». Николь была права, называя его старым лентяем. Читать, болтать, гулять — на это он был всегда готов. Но от неблагодарной работы — учить слова, составлять фразы — отлынивал. С таким характером он не должен был бы принимать этот мир так близко к сердцу. Слишком серьезен, слишком легкомыслен. «Это мое противоречие», — весело сказал он себе. (Когда-то его привело в восторг это выражение одного итальянского товарища, убежденного марксиста, державшего в страхе свою жену.) На самом деле он чувствовал себя вполне комфортно.

Вокзал вызывающе зеленого цвета: по-московски зеленого. («Если тебе это не нравится, то не понравится Москва», — говорил Андре три года назад.) Улица Горького. Гостиница «Пекин»: фигурный тортик, скромный, если сравнивать его с гигантскими замысловатыми высотками,

якобы вдохновленными Кремлем, вздымающимися там и сям в городе. Николь помнила все. И, едва выйдя из машины, узнала запах Москвы, запах бензина, бьющий в ноздри еще сильнее, чем в 63-м, наверно, потому что машин стало намного больше — особенно грузовиков и фургонов. Уже три года? — подумала она, входя в большой пустынный холл. (Накрытая сероватым полотнищем витрина газетного киоска; перед дверью ресторана — чересчур китайского декора — длинная очередь.) Как быстро они пролетели, даже страшно. Сколько раз по три года осталось ей прожить? Ничего не изменилось; вот только для иностранцев — Маша их предупредила — цена номера, прежде смехотворно низкая, выросла втрое. Дежурная на четвертом этаже выдала им ключ. Николь затылком чувствовала ее взгляд, проходя через длинный коридор. На окнах в номере были занавески, повезло, чаще окна в гостиницах без штор. (У Маши дома настоящих занавесок не было, только легкий тюль. К этому привыкаешь, говорила она; в полной темноте ей даже было трудно уснуть.) Внизу виден конец широкого проспекта; поток машин устремлялся в туннель под площадью Маяковского. Толпа на тротуарах выглядела

по-летнему: женщины разгуливали в цветастых платьях, с голыми ногами и руками. Был июнь, а они воображали, будто жарко.

— Вот это все для вас, — сказала Николь Маше, начиная распаковывать свой чемодан.

Новые романы, томики «Плеяды», пластинки. А еще кардиганы, чулки, блузки: Маша любила наряжаться. Она с восторгом щупала шерсть, шелк, сравнивала цвета. Николь прошла в ванную. И здесь повезло: оба крана и спуск в унитазе работали. Она переоделась и припудрила лицо.

— Красивое платье! — оценила Маша.

— Я его люблю.

В пятьдесят лет ее наряды казались ей либо слишком унылыми, либо слишком веселыми. Теперь, зная, что ей можно, а чего нельзя, она одевалась, не испытывая проблем. Но и без удовольствия. Ее прежних личных, почти нежных отношений со своей одеждой больше не существовало. Она повесила костюм в шкаф: два года она его носила, но это была вещь заурядная, безликая, она как будто существовала отдельно от хозяйки. А вот Маша в зеркале улыбалась не красивой блузке, которую только что надела, но своему перевоплощению, неожиданному и соблазнительному. Да, я это помню,

подумала Николь.

— Я заказала столик в «Праге», — сказала Маша.

Она не забыла, что это любимый ресторан Николь: такая предупредительная, и память хорошая, совсем как у меня. Николь понимала, почему Андре так к ней привязан. Тем более что он всегда хотел девочку, даже немного сердился на Филиппа за то, что тот родился мальчиком.

За десять минут Маша довезла их до «Праги». Они сдали пальто в гардероб, обязательный ритуал: нельзя входить в ресторан в верхней одежде или даже нести ее на руке. Сели в отделанном плиткой зале среди пальм и зелени; большой пейзаж в фиолетовых тонах целиком занимал одну стену.

— Сколько водки? — спросила Маша. — Я за рулем: пить не буду.

— Закажи все-таки триста грамм, — попросил Андре.

Он поискал глазами взгляд Николь:

— Ради первого вечера?

— Ради первого вечера, ладно, — улыбнулась она.

Он был склонен злоупотреблять спиртным, как и сигаретами; с курением она уже не бо-

ролась, но с выпивкой все же ухитрялась его обуздывать.

— Ради первого вечера я наплюю на диету, — сказала она. — Мне икры и жюльен из птицы.

— Вы на диете?

— Да, уже полгода. Я поправилась.

Может быть, ела она больше, чем до пенсии; во всяком случае, сил точно тратила меньше. Филипп сказал ей однажды: «Смотри-ка: ты округлилась!» (Потом он как будто не заметил, что она похудела.) И как раз в этом году в Париже только и говорили о том, как сохранить фигуру или вновь ее обрести: низкокалорийная пища, углеводы, чудо-таблетки.

— Вы прекрасно выглядите, — сказала Маша.

— Я сбросила пять кило. И стараюсь не набрать их снова. Взвешиваюсь каждый день.

Когда-то ей и в голову не могло прийти, что она будет заботиться о своем весе. И вот! Чем меньше она узнавала себя в своем теле, тем больше чувствовала себя обязанной им заниматься. Оно было на ее попечении, и она ухаживала за ним с дежурной самоотверженностью, как за старым другом, обиженным жизнью, который нуждался в ней.

— Значит, Филипп женится, — сказала Ма-

ша. — Какая же у него невеста?

— Красавица, умница, — ответил Андре.

— Мне она совсем не нравится, — сказала Николь.

Маша рассмеялась:

— Как вы это сказали! Никогда не видела свекрови, которой бы нравилась невестка.

— Тип «фам тоталь» — тотальной женщины, — объяснила Николь. — Таких много в Париже. Худо-бедно имеют профессию, якобы хорошо одеваются, занимаются спортом, содержат в идеальном порядке дом, замечательно воспитывают детей; хотят доказать, что состоялись во всех отношениях. А на самом деле разбрасываются, ничего толком не добившись. У меня кровь стынет в жилах от таких молодых женщин.

— Ты все-таки несправедлива, — заметил Андре.

— Может быть.

В который раз она спросила себя: почему Ирен? Я думала, что, когда он женится… Нет! Я думала, что он не женится никогда, что останется маленьким мальчиком, который говорил мне, как говорят все мальчики: «Когда я вырасту, я женюсь на тебе». И вот однажды вечером он сказал: «У меня для тебя важная новость!» —

с возбужденным видом ребенка, который в свой праздник слишком разыгрался, раскричался, распрыгался. И прозвучал удар гонга в груди Николь, и кровь прилила к щекам, и напряглись все силы, чтобы унять дрожь губ. Февральский вечер, задернутые шторы, свет ламп над радугой диванных подушек, и эта вдруг разверзшаяся бездна разлуки: «Он будет жить с другой, не здесь!» Что ж, да! Я должна смириться, сказала она себе. Водка ледяная, икра бархатисто-серая, Маша ей нравится, Андре будет принадлежать только ей целый месяц. Она почувствовала себя совершенно счастливой.

Он чувствовал себя совершенно счастливым, сидя в кресле между двумя кроватями, на которых расположились с одной стороны Маша, с другой Николь. (В 63-м Юрий был в археологической экспедиции, он взял с собой Василия, и квартира Маши пустовала. В этом году провести вечер с ней наедине можно было только в этом гостиничном номере.)

— Я все устроила, буду свободна весь месяц, — сказала Маша.

Она работала в издательстве, которое публиковало в Москве на французском русскую классику, и в журнале, предназначенном для зарубежных

стран, с современными текстами. Она переводила, но также читала, отбирала, предлагала.

— Мы сможем съездить во Владимир в конце недели, — продолжала она. — Три часа на машине.

Она обсуждала с Николь маршруты: Новгород, Псков, Ростов Великий, Ленинград. Николь хотелось двигаться; что ж, в СССР она приехала во многом для того, чтобы доставить удовольствие Андре, так пусть поездка будет для него приятной. Он смотрел на них, и у него теплело на сердце. У Маши было куда больше общего с Николь, чем с Клер, этой красивой дурочкой, которая, к счастью, пошла на развод с той же готовностью, что и он, после того как их ребенок родился в законном браке. Андре был рад, что они так хорошо ладят: две женщины, которых он любил больше всех на свете. (По отношению к Филиппу он так и не смог побороть в себе некоторую ревность. Слишком часто сын бывал третьим лишним между ним и Николь.) Николь. Она значила для него намного больше, чем Маша. Но подле дочери приходило ощущение, которого он не мог испытать в ее отсутствие: ощущение романтики. Пускаться в приключения он мог бы и сейчас, ничто не ме-

шало. В один прекрасный день Николь заявила, что слишком стара для постельных радостей. (Абсурд, он любил ее сегодня все той же всепоглощающей любовью, что и раньше.) Таким образом, она вернула ему свободу. На самом деле, она по-прежнему оставалась ревнивой — а у них уже слишком мало времени, чтобы тратить его на ссоры. И потом, несмотря на гимнастику и строгий контроль за весом, собственное тело ему больше не нравилось — совсем не подарок для женщины. Он не страдал от воздержания (разве что задумывался порой, видя в этом безразличии признак своего возраста). Но без радости говорил себе: «Все кончено. Мне больше не уготовано в жизни никаких неожиданных радостей». И вот — Маша.

— Твой муж не рассердится, что мы похитим тебя у него? — спросил он.

— Юрий никогда не сердится, — весело отозвалась Маша.

Судя по их разговору в «Праге», с Юрием ее связывала скорее дружба, чем любовь; но все же удачно сложилось, что он ей вполне подходил: она вышла замуж скоропалительно, чтобы остаться в СССР, глубоко разочаровавшись в среде, где вращались ее мать и отчим, и в капи-

талистическом мире в целом. Эта страна стала ее страной: отчасти поэтому она так много значила в глазах Андре.

— Как обстоят дела в этом году в культурном плане?

— Как всегда: сражаемся, — ответила Маша.

Она принадлежала к лагерю, который называла либеральным, боровшемуся против академизма, догматизма, пережитков сталинизма.

— И побеждаете?

— Иногда. Ходит слух, что некие ученые готовятся разгромить в пух и прах святую и неприкосновенную идею диалектики природы; это была бы большая победа.

— Хорошо, когда есть за что бороться, — вздохнул он.

— Ты тоже борешься, — живо отозвалась Николь.

— Нет. Не борюсь с Алжирской войны[2]. Я пытаюсь помогать, а это не одно и то же. К тому же все это почти всегда впустую.

---

[2] Примечания: 2

Алжирская война (1954–1962) — военный конфликт между французской колониальной администрацией в Алжире и вооруженными группировками, выступающими за независимость Алжира от Франции. Несмотря на фактическое военное поражение алжирских повстанцев, конфликт завершился признанием независимости Алжира Францией.

После 62-го он утратил сцепку с миром и, наверно, поэтому так метался. Бездействие угнетало его. От бессилия — бессилия всех французских левых — он порой впадал в уныние. Особенно утром, просыпаясь: тогда, вместо того чтобы встать, он закутывался в одеяла, натягивал на голову простыню и так лежал, пока не вспоминал о срочной встрече и не вскакивал с постели.

— Тогда зачем ты это делаешь? — спросила Маша.

— Не вижу никаких причин этого не делать.

— Ты бы мог работать для себя. Эти статьи, о которых ты говорил мне три года назад…

— Я их не написал. Николь тебе скажет, что я старый лентяй.

— Да нет же! — вмешалась Николь. — Ты живешь так, как тебе хочется. К чему себя насиловать?

Она действительно думала так? Она больше не донимала его, как прежде, но, наверно, у нее просто опустились руки. Она не придавала бы такого значения диссертации сына, если бы не была слегка разочарована мужем. Что ж, ничего не поделаешь.

— Все-таки жаль, — сказала Маша.

И в нем отозвалось эхом: жаль. С сожалениями

Николь он давно смирился. Но ему хотелось, чтобы Маша видела другой образ, не этот: старого пенсионера, ничего на своем веку не совершившего. У него были мысли о некоторых современных событиях, которые Николь находила интересными. Не раз он обещал себе над ними поработать. Вот только настоящее не отпускало его; он не хотел обращаться к прошлому, пока не поймет до конца сегодняшний мир, — а сколько же времени нужно, чтобы быть постоянно в курсе! Все-таки настанет день, когда этот анализ будет закончен, думал он в свое время, и тогда получат продолжение планы, некогда набросанные с энтузиазмом и — временно — оставленные. День не настал, никогда не настанет. Сегодня он понимал: конца не будет. Из года в год он владел все большим количеством информации — и все меньше знал. Неясности, сложности, противоречия только множились вокруг него. Китай казался ему куда более непостижимым, чем в 1950-м. Внешняя политика СССР и вовсе сбивала с толку.

— Еще не поздно, — ободряюще сказала Маша: ведь он боялся ее огорчить.

— Нет, не поздно, — подхватил он с горячностью.

Было поздно, ему уже не измениться. На самом деле он мог бы одновременно изучать и современность, и историю, если бы сумел, как Филипп, принудить себя к самодисциплине. Вот только принуждений, быть может, потому, что слишком много их натерпелся в детстве, он не выносил. Он сохранил вкус к прогулам, к эскападам — которые так строго наказывались и оттого были особенно отрадны. Он никогда всерьез не винил себя за лень: она проистекала из его открытости миру, его стремления не закоснеть. И вдруг, под взглядом Маши, она предстала ему совсем иначе: привычка, рутина, неисправимый изъян. Он сам с ней смирился, она была неотделима от него, и даже если бы он сейчас захотел преодолеть эту лень, то не смог бы этого сделать.

— Как трогательно: Маша к тебе привязана, — сказала Николь, когда они остались одни.

— Сам не знаю почему, — ответил он. — Я думаю, что Юрий для нее скорее товарищ, чем опора. Ей нужен был отец. Приехав в Париж в 60-м, она решила, что полюбит меня.

— Не скромничай, — рассмеялась Николь. — Я же полюбила тебя просто так.

— Я был молод.

— Ты не состарился.

Он не стал возражать. Николь как будто не сознавала, сколько ему лет; он о своем возрасте не заговаривал; но он часто думал о нем — с возмущением. Долго — кривя душой, не задумываясь, теша себя байками, — он отказывался считать себя взрослым. Этот профессор, этот отец семейства, этот пятидесятилетний мужчина — как будто не он. И вот западня жизни захлопнулась за ним; ни прошлое, ни будущее не давали ему больше алиби. Он был шестидесятилетним стариком, пенсионером, ничего на своем веку не сделавшим. Что ж, могло быть хуже. Шевельнувшееся в нем сожаление уже рассеялось. Будучи профессором Сорбонны, известным историком, он все равно остался бы с бременем этой другой судьбы за плечами, и вряд ли оно было бы легче. Возмутительно — оказаться определенным, остановившимся, конченым; возмутительно, что эфемерные мгновения множатся и окружают вас оболочкой, в которой вы заперты, как в западне. Он поцеловал Николь и лег. Сны — хоть это у него осталось. Он прижался щекой к подушке. Ему нравилось чувствовать, как он проваливается в сон. Сны для него были лучшим прибежищем, чем книги или фильмы. Они даровались просто так, это было восхити-

тельно. Если не считать тех гадких кошмаров, когда все зубы рассыпались во рту, в снах у него не было возраста, он был неподвластен времени. Наверное, они произрастали в его истории, расцветали на его прошлом — но таинственным для него образом; и они не имели продолжения в будущем, он их забывал: чистое настоящее. Из ночи в ночь они изглаживались из памяти и возникали вновь, не накапливаясь: вечная новизна.

* * *

— Я все-таки хотел бы понять, почему иностранцам запрещено ехать во Владимир на машине, — сказал Андре.

Поезд катил быстро, без тряски; вот только все свободные сиденья были расположены против хода поезда, а Николь не могла ехать таким образом, ее сразу начинало тошнить. (Какое унижение, ведь когда-то она не уступала мальчикам в здоровье, силе и выносливости!) Она стояла на коленях на своем месте лицом к Андре и Маше: долго выдержать такую позу нелегко.

— Пойми, что понимать нечего, — ответила Маша. — Дорога хорошая; деревни вокруг процветают. Это бюрократический абсурд, наложенный

на давнее опасливое отношение к иностранцам.

— Любезность и опаска: странная смесь, — сказала Николь.

Это сбивало их с толку еще в 63-м. В очередях — у Мавзолея, в ГУМе, у дверей ресторанов — достаточно было одного Машиного слова, и люди расступались, пропуская их. Однако в Крыму они повсюду натыкались на запреты: на восточное побережье, в Севастополь, иностранцев не пускали. В Интуристе уверяли, что на горной дороге, связывающей Ялту с Симферополем, идут ремонтные работы, — но Маше сказали по секрету, что на самом деле она закрыта лишь для иностранцев.

— Ты не слишком устала? — спросил Андре.

— Ничего, терпимо.

Она чувствовала себя немного разбитой; но забывала об этом, глядя на поля, просторные и спокойные в мягком свете солнца, которое все никак не могло закатиться. Она провела четыре прекрасных дня. Москва немного изменилась; скорее подурнела. (Жаль, что перемены происходят всегда в худшую сторону, это касается и мест, и людей.) Прорубили проспекты, снесли старые кварталы. Закрытая для автомобилей Красная площадь казалась шире и торжественнее: свя-

тое место. Но к сожалению, если раньше она воспаряла в небо, то теперь за храмом Василия Блаженного огромный отель заслонял горизонт. Ну да ладно. Николь с радостью увидела вновь красивые соборы Кремля, их иконы и иконы в музеях; оставалось еще много старых домов, которыми она была очарована, особенно вечерами, когда сквозь оконные стекла и завесу зелени был виден теплый свет допотопного абажура из оранжевого или розового шелка с бахромой.

— Вот и Владимир, — сказала Маша.

Они занесли чемоданы в гостиницу. Ужинать там было уже поздно, и Маша решила, что они устроят пикник. В еще розовом небе взошла круглая луна. Они пошли по дороге вдоль стен Кремля: внизу, под ногами, река, вокзал, мерцание огней. Пересекли сквер, пахнувший флоксами и петуниями, где возвышалась церковь; на скамейках обнимались парочки.

— Можно остановиться здесь, — предложила Николь.

— Лучше чуть подальше, — ответила Маша.

Она командовала, они повиновались; Николь это забавляло, потому что повиноваться она не привыкла.

Они двинулись дальше и зашли в другой сквер,

окружавший другую церковь.

— Давайте здесь, — сказала Маша. — Это самая красивая церковь во Владимире.

Тоненькая, стройная, увенчанная одной золоченой луковкой, в белом платье, покрытом до середины тонкой вышивкой. Великолепная в своей простоте. Они сели, и Маша распаковала припасы.

— Мне только пару крутых яиц, — сказала Николь.

— Вы не проголодались?

— Проголодалась. Но не хочу полнеть.

— Ах! Бросьте, не думайте об этом, — фыркнула Маша. — Поешьте как следует!

Ворчливый, сердитый голос Маши заставил Николь улыбнуться: никто не говорил с ней в таком тоне. Она надкусила пирожок.

— А Юрий и Василий так же послушны, как я?

— Достаточно послушны, — весело ответила Маша.

— Попробуйте тогда приструнить вашего отца: скажите ему, что, выкуривая по сорок сигарет в день, он рискует заболеть раком легких.

— Оставьте меня в покое, вы обе, — отозвался Андре вполне учтивым тоном.

— Это правда, ты слишком много куришь, —

сказала Маша.

— Дай-ка мне лучше водки.

Маша наполнила картонные стаканчики, и некоторое время они ели и пили молча.

— Красивая церковь, — сказал Андре с сожалением в голосе. — Я смотрю на нее во все глаза и знаю, что через неделю я ее не вспомню.

— Я тоже, — отозвалась Николь.

Да, она забудет эту белую, вызолоченную церковь, она столько всего забыла! Это любопытство, которое она сохранила почти в неприкосновенности, часто казалось ей пережитком и чудачеством: к чему, если воспоминания рассыпаются в прах? Светила луна, светила и маленькая звездочка, ее верная спутница, и Николь повторила про себя красивые строчки из «Окассена и Николетты»[3]: «Вижу рядышком с луной / Тихий свет звезды ночной». Вот преимущество литературы, сказала она себе: слова — их можно унести с собой. Образы тускнеют, искажаются, меркнут. Но старые слова жили в ее горле все такими же, какими были написаны. Они связывали ее с минувшими веками, когда светила сияли в точности, как сегодня. И это возрождение, и это

[3] Примечания: 3

Французский рыцарский роман первой половины XIII века в жанре песни-сказки. — *Прим. перев.*

постоянство создавали у нее ощущение вечности. Земля состарилась; однако бывали вот такие моменты, когда она казалась юной, как в первые дни, и настоящее было самодостаточно. Николь находилась здесь, она смотрела на церковь: просто так, чтобы видеть. Согревшись от нескольких глотков водки, она находила пронзительное очарование в этой безучастности.

Они вернулись. Занавесок на окнах не было, но Николь повязала голову шарфом и быстро уснула. Умиленность пробуждения. В залитой светом комнате он свернулся клубочком на кровати с завязанными, как у смертника, глазами, рукой упираясь в стену детским жестом, как будто в смятении сна хотел ощутить надежность мира. Сколько раз садилась она — и будет еще садиться — на край кровати, положив руку ему на плечо, легонько встряхивала. Иногда он бормотал: «С добрым утром, мамочка», а потом тряс головой и растерянно улыбался. Она положила руку ему на плечо.

— Сейчас я вам кое-что покажу, — сказала Маша, толкнув дверь церкви. В сумраке она повела их за собой: — Посмотрите, какая участь уготована иностранцам.

Фреска изображала Страшный суд. Справа анге-

лы, облаченные в длинные платья, не поймешь, какого возраста; слева — обреченные аду, французы в костюмах той эпохи — черные камзолы, обтягивающие штаны до икр, кружевные воротнички, острые бородки; за ними мусульмане в тюрбанах.

— Решительно, это давняя традиция, — сказала Николь.

— Вообще-то, — отозвалась Маша, — за исключением редких периодов Россия была широко открыта Западу. Но некоторые круги всегда были ей враждебны, в частности церковные. Заметьте, они прокляты как неверные, а не из-за национальной принадлежности.

— Практически это одно и то же, — буркнул Андре.

Он с утра был не в духе. Вчера был чудный день. Ему нравился Владимир, его церкви, фрески Рублева, и неважно, что ели они кое-как, мать хорошо его вышколила. Но начавшийся спор с Машей раздражал его. До сих пор он был твердо убежден, что она разделяет его взгляды.

— Не так легко будет искоренить ваш национализм, — продолжал он, выходя из церкви. — В сущности, ты мне только что объяснила, что вы больше не революционная страна, и это очень

хорошо.

— Ничего подобного. Революцию совершили мы, и это не подлежит пересмотру. Но вы во Франции не знаете, что такое война. А мы знаем. И мы не хотим ее повторения.

Маша говорила гневно, и Андре вновь ощутил раздражение.

— Никто ее не хочет. Я тебе говорю, что если вы развяжете руки Америке, если не остановите эскалацию, вот тогда-то ее и надо бояться. Мюнхен же ничему не помешал.

— Ты думаешь, если мы вздумаем бомбить американские базы, США не нанесут ответный удар? Нам незачем так рисковать.

— А если они нападут на Китай, вы тоже не почешетесь?

— Ах! Не начинайте снова, — вмешалась Николь. — Уже два часа вы спорите: вам друг друга не переубедить.

Некоторое время они шли молча. На улицах толпилось полно народу. Сегодня был праздник берез, видимо, заменивший Троицу. Люди танцевали до полуночи на большой танцевальной площадке под открытым небом (ни столов, ни стульев, просто площадка, обнесенная забором). Рано утром по центральному проспекту

проехали грузовики, в которых сидели девочки в белых платьях и мальчики в красных галстуках с березовыми ветками в руках. Они пели. В парке один павильон был превращен в буфет: снаружи стояли маленькие столики, внутри — большие, на которых возвышались горы пирогов и булочек.

— Сядем здесь и поедим чего-нибудь, — предложила Маша.

— Ах! Да. Если можно поесть, поедим, — подхватила Николь.

Вчера во Владимире было голодно. В ресторане не подавали ни рыбы, ни баранины, ни птицы, ни овощей, ни фруктов — только рагу, которое Николь и Маша сочли несъедобным. Серый хлеб отдавал клеем. Перед гостиницей стояла очередь за галетами, о которые можно было сломать зубы. А вот сегодня утром женщины выходили из павильона, нагруженные гирляндами кренделей, их хозяйственные сумки раздувались от снеди. Они заказали пирожки, бутерброды с яйцами и сыром, все было очень вкусно.

— В городе нечего есть, а здесь такое изобилие — как это может быть? — спросил Андре.

— Я же тебе говорила: не надо пытаться понять, — ответила Маша. Послушать ее, так не сле-

довало удивляться никаким несуразностям, никакому абсурду. Страна по-прежнему была отягощена закоснелым бюрократическим аппаратом, ответственным за колоссальное разбазаривание средств и парализующие меры. Правительство всеми силами старалось преодолеть эту инерцию; но времени, чтобы с ней справиться, понадобится много.

— Вспомни историю со школьными стульями, — добавила она.

Вчера утром она вышла из гостиницы, согнувшись пополам от смеха, из-за передачи, услышанной по владимирскому радио. Одна фабрика производила спинки стульев, другая сиденья, третья их собирала. Но, с одной стороны, всегда не хватало либо сидений, либо спинок, с другой, когда пытались соединить две части, одна из них ломалась. После шагов и демаршей, дознаний, контролей, докладов наконец заключили, что хромает процесс сборки. Но надо было пройти бесчисленное множество бюрократических инстанций, чтобы получить разрешение его изменить. «Это чистый абсурд», — сказала Маша, не преминув заметить, что передача этой истории по радио тоже была проявлением антибюрократической борьбы. Она судила

режим очень свободно, была критична, учитывала нюансы. Стало быть, если она одобряла его внешнюю политику, то не из слепой покорности, и Андре от этого было еще более неловко. Но он не хотел снова заводить об этом речь, не сейчас. Он посмотрел на толпу вокруг: лица сияли радостью, как будто люди по доброй воле участвовали в этих шествиях, церемониях, во всем этом празднике. Однако было видно, что ими командуют: они повиновались приказам. Веселье и дисциплина — одно другому не противоречило. Но он хотел бы знать, как это увязывается. Должно быть, по-разному, в зависимости от возраста и положения. Если бы только он понимал, что они говорят!

— Ты бы давала нам уроки русского, — сказал он Маше.

— Ах! Нет уж, — воскликнула Николь. — Я даже не знаю алфавита. Чему я, по-твоему, научусь за месяц? Но ты займись, если тебе интересно, — добавила она.

— Ты в это время будешь скучать.

— Да нет, я почитаю.

— Что ж! Завтра в Москве начнем, — решил Андре. — Может быть, я не буду чувствовать себя таким потерянным.

— А ты чувствуешь себя потерянным?

— Совершенно.

— Это будут твои первые слова, когда ты попадешь в рай — или в ад: я чувствую себя совершенно потерянным, — ввернула Николь, нежно улыбаясь.

Она всегда улыбалась этим его замешательствам. Сама она в поездках принимала вещи такими, каковы они есть. «Это Африка и это колония!» — говорила она ему в Гардае[4]. (Первая встреча Андре, еще совсем молодого, с Магрибом. Там были верблюды, женщины в покрывалах, но в магазинах — консервы и скобяной товар: это была далекая Аравия и французская деревня одновременно. Они не могли понять, как встреченные ими люди ощущают эту двойную принадлежность.) Причины его нынешнего смятения были куда серьезнее. Как советский человек чувствует себя в своей шкуре? До какой степени эта молодежь, что идет, распевая песни, по аллеям, похожа на нашу, чем она от нее отличается? Как смешаны в них стремление строить, социализм и национальный эгоизм? От ответов, которые можно дать на эти вопросы, зависело

---

[4] Примечания: 4
Город в Алжире.

многое.

— Напрасно ты говоришь об эгоизме, — сказала ему Маша несколькими часами позже. В номере, где они отдыхали за чашкой чая после долгой прогулки, она продолжила утренний разговор в более спокойном тоне. — Атомная война касается не только нас, но и всего мира. Пойми, что мы разрываемся между двумя императивами: помочь социализму на всей земле и сохранить мир. Мы не хотим отказываться ни от того, ни от другого.

— О! Я отлично знаю, что ситуация непростая.

— Остановитесь-ка на этом, — живо вмешалась Николь. — Маша хотела, чтобы я посмотрела с ней ее перевод: если мы не займемся этим сейчас, потом не будет времени.

— Да, надо заняться, — согласилась Маша.

Они уселись рядом за стол. Он открыл путеводитель по СССР, привезенный из Парижа, и сделал вид, будто поглощен им, но в голове крутились все те же мысли. Действительно, нельзя исключать гипотезу чудовищного американского отпора любой попытке эскалации. И что тогда?

Бомба в 45-м была лишь довольно абстрактной угрозой: сегодня же она стала пугающей реальностью. Но некоторых людей она не бес-

покоила: «Когда я умру, будет существовать земля или нет, мне все равно». Один друг Андре даже сказал: «Уж коли на то пошло, я испытаю меньше сожалений, если буду знать, что после меня ничего не останется». Он же покончил бы с собой тотчас, если бы знал, что земля полетит в тартарары. Или просто, что вся цивилизация будет уничтожена, ход истории прерван, и выжившие — наверняка китайцы — начнут с нуля. Они, быть может, воцарят социализм — но он не будет иметь никакого отношения к тому социализму, о котором мечтали его родители, его товарищи и он сам. Однако если СССР проводит политику мирного сосуществования, социализм наступит не завтра. Сколько обманутых надежд! Во Франции Народный фронт, Сопротивление, освобождение третьего мира ни на пядь не заставили отступить капитализм. Революция в Китае — привела к китайско-советскому конфликту. Нет, никогда будущее не казалось Андре таким беспросветным. «Жизнь прожита зря», — подумал он. Чего бы он желал — чтобы его собственная жизнь с пользой вписалась в историю, которая станет для людей путем к счастью. Наверно, когда-нибудь так и будет; Андре слишком долго в это верил, чтобы

не верить еще хоть немного; но путь будет таким непростым и долгим, что история перестанет быть его историей.

Голос Николь прервал его размышления:

— У Маши очень правильный французский; даже слишком правильный, немного чопорный, я бы сказала.

— Я так боюсь наделать ошибок, — вздохнула Маша.

— Это чувствуется.

Они снова склонились над отпечатанными страницами, улыбаясь друг другу и перешептываясь. Николь, обычно такая строгая к женщинам, была искренне расположена к Маше; их согласие радовало Андре.

— Я тоже хочу взглянуть на этот перевод, — сказал он.

Пусть будущее казалось беспросветным, не стоило портить этот момент нежной задушевности. Он отогнал невеселые мысли.

* * *

— Я бы присела, — сказала Николь.

Узбекский ресторан был очарователен, с маленькими павильончиками под открытым небом и экзотической публикой: плосколицые мужчи-

ны с раскосыми глазами в квадратных шапочках, женщины в пестрых шелковых платьях с тяжелыми черными косами. Здесь подавали лучшие в Москве шашлыки. Но — везде одно и то же — от грохота оркестра пришлось бежать, едва доев последний кусок. Маша предложила прогуляться. Днем они много ходили, и Николь чувствовала себя усталой. Это было досадно; когда-то она отмеривала километры так же бодро, как и Андре! Теперь же каждый вечер после их долгих прогулок у нее подкашивались ноги. Она не подавала виду. Но в сущности, глупо было себя насиловать. Они проходили мимо пустой скамейки, редкое везение, надо воспользоваться. Они сели.

— Так мы все-таки сможем поехать в Ростов Великий или нет?

— Боюсь, что нет, — сказала Маша.

— А прокатиться по Москве-реке?

— Я могу спросить…

— О! Почему бы просто не остаться в Москве? — вмешался Андре. — Нам столько всего нужно увидеть снова!

— Как бы то ни было, обязательно увидим.

Увидеть снова. Было время, лет в сорок, когда это приводило ее в восторг. Прежде — нет, она жаждала новизны. Теперь тоже. Так мало

осталось жить: топтаться день за днем на Красной площади — потерянное время. Она была великолепна — просто шок три года назад. И в этом году тоже, в первый день. Но Николь уже слишком хорошо ее знала. Вот в чем была большая разница между первой поездкой и этой. В 63-м все было ново, в этот раз — почти ничего. Отсюда, должно быть, это легкое разочарование.

— А где мы проведем вечер? — спросила она.

— Почему бы не здесь? — отозвался Андре.

— На этой скамейке, весь вечер?

В этом году они не знали, чем заняться вечерами. Юрий был очень мил — он не говорил по-французски, и отношения с ним сводились к «здравствуйте — до свидания», — но он работал в своей комнате, Василий — в своей. Чтобы им не мешать, приходилось понижать голос до шепота, и все равно Андре и Николь чувствовали себя лишними. В гостиничном номере было неуютно. Кафе — их построили много за эти три года; снаружи они, со стеклянными стенами, выглядели неплохо, но внутри смахивали на молочные лавки — увы, им не хватало комфорта и интимности; впрочем, в этот час они были уже закрыты. Значит, оставалась эта скамейка в сквере, пропахшем бензином, у станции метро?

— Здесь хорошо, — сказал Андре. — Приятно пахнет зеленью.

Ему везде было хорошо. Во фланелевом костюме он не мерз; Маша вообще, если было выше десяти градусов, считала, что жарко; но Николь дрожала в своем легком платье. И потом, сидеть целый вечер на скамейке — чувствуешь себя бродягой.

— Мне холодно, — пожаловалась она.

— Можно пойти в бар «Националя», — предложила Маша.

— Отличная мысль.

Бар был открыт до двух часов ночи; там принимали иностранную валюту, можно было заказать виски, американские сигареты; она обратила на это внимание Андре и Маши в тот день, когда они завтракали в «Национале», но они ничего не ответили. Маша, однако, взяла это на заметку и теперь вспомнила об этом. Они поднялись.

— Это далеко?

— Полчаса пешком. Можно поймать такси, — сказала Маша.

Николь хотела такси: у нее болели ноги. Обычно найти машину было легко: их число удвоилось с 63-го. Но в этот вечер машины проезжали мимо, зеленые огоньки зазывно горели; но, сколько им

ни махали, они безжалостно проносились, не замечая поднятых рук: на больших проспектах им было запрещено останавливаться. Ближайшая стоянка находилась довольно далеко, и там наверняка стояла длинная очередь в ожидании свободных машин. Идти пешком, время от времени присаживаясь на скамейки, — режим довольно тяжкий. Для москвичей Москва, может быть, и хороша; Маша, например, не хотела бы жить больше нигде и уж никак не в Париже (что было все-таки удивительно). Но — как она сурова к иностранцам! «Наверно, я постарела за эти три года, — сказала себе Николь, — я уже не так легко переношу неудобства. А дальше будет только хуже». «Мы в цвету пожилого возраста», — говорил Андре. Тоже мне цвет — чертополох.

— Я падаю от усталости, — пожаловалась она.

— Мы уже пришли.

— Стареть отвратительно.

Маша взяла ее под руку. «Полноте! Вы оба такие молодые!»

Ей часто это говорили: вы молодо выглядите, вы молоды. Двусмысленный комплимент, предвещающий тягостное завтра. Сохранить жизненную силу, веселье, присутствие духа — значит оставаться молодым. Удел старости, стало

быть, рутина, уныние, маразм. Некоторые говорят: какая старость, старости нет! Или даже так: это прекрасно, это так трогательно; но, встретившись со старостью, стыдливо маскируют ее проявления лживыми словами. Маша говорит: «Вы молоды», но она взяла Николь под руку. В сущности, это из-за нее с самого приезда Николь так остро ощущала свой возраст. Она сознавала, что ее сформировавшееся представление о самой себе остановилось на сорока годах, — и узнавала себя в этой сильной молодой женщине; тем более что Маша так опытна, так уверена в себе, она вполне зрелая женщина, как и Николь: да, они похожи. А потом вдруг жест, интонация, предупредительность напоминали ей о разнице в двадцать лет — ей шестьдесят.

— Ну и толчея! — поразился Андре.

В баре было дымно и шумно. Нашелся единственный свободный столик, зажатый между молодыми американцами, заливавшимися звонким смехом, и французами зрелого возраста, которые громко шутили. Немцы из ФРГ — здесь принималась только западная валюта — пели хором. На проигрывателе крутилась пластинка — джаз, но его было едва слышно. И все же приятно было вновь ощутить вкус виски, вкус парижских

вечеров с Андре, с Филиппом. (Там жарко; они сели бы на террасе где-нибудь на Монпарнасе.)

— Приятно тебе вновь оказаться на Западе?

— Да, хотя бы ненадолго.

Он сжег все мосты. Никому не писал — разве что торопливо нацарапал несколько слов на последнем письме Николь, адресованном Филиппу. Улыбался утром, когда она упорно покупала «Юманите» недельной давности. Он всегда был таким, когда они путешествовали. Легко забывал Париж; там у него не было корней.

— Делегации гуляют! Это похуже свадьбы цирюльника[5]! — мрачно отметил он.

— Хочешь, уйдем?

— Конечно, нет.

Он оставался, чтобы доставить удовольствие Николь; но вернуться сюда ему не захочется; как, впрочем, и Маше, ей было явно не по себе. (Русских здесь не было, кроме двух ярко накрашенных женщин, явно ловивших денежных клиентов.) Место, однако, было славное, открытое — или, по крайней мере, приоткрытое в мир. Высокий негр в красной рубашке танцевал один,

---

[5] Примечания: 5

Очевидно, аллюзия на комедии Бомарше «Севильский цирюльник, или Тщетная предосторожность» и «Безумный день, или Женитьба Фигаро».

и люди отбивали ритм, хлопая в ладоши.

— Отлично танцует, — сказала Николь.

— Да.

Андре сидел с отсутствующим видом. Уже несколько дней он то и дело прижимал палец к щеке на уровне десны.

— Болит? Покажись дантисту.

— У меня ничего не болит.

— Тогда почему ты все время щупаешь щеку?

— Проверяю, не болит ли.

Был период, когда он считал себе пульс по двадцать раз в день, уставившись на стрелки часов. Мелкие безобидные причуды, и все-таки знак. Чего? Что жизнь перестает радовать вас, что вас подстерегает сенильность. Сенильность. Она помнила наизусть определения из Ларусса[6], поразившие ее своей асимметричностью. Юве-нильность: юность. Сенильность: ослабление тела и ума, вызванное старением.

* * *

Юрий и Николь ушли сразу после завтрака, а Андре остался с Машей на урок русского языка.

---

[6] Примечания: 6

Имеется в виду энциклопедия, выпущенная издательством Ларусс (Librairie Larousse).

Он протянул руку к графинчику с водкой:

— Хватит на сегодня работать. — И добавил с досадой: — Память у меня совсем сдала.

— Нет, что ты; ты отлично справляешься.

— Я не запоминаю того, что учу. Выучу и тут же забываю.

Он отхлебнул водки, и Маша неодобрительно покачала головой:

— Никогда не привыкну к такой манере пить.

Она осушила свою рюмку залпом.

— Действительно, выучить язык за месяц — это смешно, — вздохнул он.

— Почему за месяц? Вам ведь особо нечего делать в Париже?

— Нечего.

— Так останьтесь подольше.

— Почему бы нет? Я поговорю вечером с Николь.

В эти прекрасные летние дни Москва радовала глаз. Люди толпились вокруг цистерн на колесах, из которых продавали квас и пиво; осаждали автоматы, выплевывающие за одну копейку более-менее прохладную воду, а за три копейки содовую со слегка фруктовым вкусом; на их лицах читалось хорошее настроение.

Они были далеко не так дисциплинированны,

как представлялось Андре: переходили улицу на красный свет так же спокойно, как и на зеленый. Ему вспомнился разговор за завтраком с Юрием.

— Юрий меня не убедил, — сказал он.

— Нет, уверяю тебя, он прав, — ответила Маша.

Они говорили о недавно заключенных соглашениях с «Рено», и Андре удивился, что СССР планирует выпустить 600 тысяч автомобилей для личного пользования, вместо того чтобы улучшить дорожную сеть и работу общественного транспорта. Но общественный транспорт и так хорошо работает, говорил Юрий, а строить дороги, прежде чем население ощутит в них потребность, было бы неверной политикой: оно само их запросит, когда появится достаточное количество машин. Даже при социалистическом режиме граждане имеют право на удовлетворение некоторых личных потребностей. Правительство прилагает грандиозные усилия, развивая производство товаров потребления: это достойно всяческих похвал.

— Ты думаешь, вы сможете построить социализм, приумножая уступки частной собственности?

— Я думаю, что социализм строится для людей,

а не наоборот, — ответила Маша. — Надо немного заботиться и об их насущных интересах.

— Да, конечно.

А что он, собственно, себе воображал? Что здесь у людей другие интересы? Что они не так привязаны к материальным благам? Что социалистический идеал для них заменяет все остальное?

— Китайцы обвиняют нас в ренегатстве, это абсурд; и речи нет о возвращении к капитализму. Но, пойми, этот народ столько перенес: в войну, в период восстановления. Мы и сейчас не избалованы. Нельзя бесконечно держать нас на голодном пайке.

— Не в голодном пайке дело. Мое детство было труднее, чем у Василия. И моей матери нелегко пришлось в жизни. Она счастлива — ну, насколько это возможно в восемьдесят три года, — но оттого только, что ей немного надо.

— Почему ты говоришь: насколько это возможно в восемьдесят три года? Знать, что у тебя за плечами долгая, наполненная жизнь, — это должно греть душу.

Маша нарочно перевела разговор в другое русло. Она не любила говорить с Андре об этой стране, которую считала своей: критиковал он СССР или хвалил, она привычно одергивала его

с ноткой раздражения.

— Ты слишком абстрактен, — часто говорила она.

Он оставил тему.

— В восемьдесят три года у тебя больше нет будущего; это лишает всякой прелести настоящее.

— Мне кажется, что если я доживу до этого возраста, то буду целыми днями сама себе рассказывать свою историю. Это потрясающе: восемьдесят три года за плечами! Сколько она повидала!

— Даже я повидал немало. И что от этого осталось?

— Да не счесть! Все, что ты рассказывал мне вчера: про твое пребывание у Красных соколов[7], про избирательные стычки в Авиньоне…

— Я рассказываю — но не помню.

Было бы прекрасно, часто думал он, будь прошлое пейзажем, в котором можно гулять в свое удовольствие, открывая мало-помалу его сокровенные уголки. Но нет. Он мог называть имена, даты — так школьник отбарабанивает хорошо выученный урок; кое-какое знание у него было; и образы — искаженные, поблекшие, застывшие,

---

[7] Примечания: 7

Молодежное движение, в том числе и во Франции.

как картинки в старом учебнике истории; они сами собой возникали на белом фоне.

— Все-таки с возрастом мы обогащаемся, — сказала Маша. — Я чувствую себя богаче, чем в двадцать лет. А ты?

— Немного богаче; и гораздо беднее.

— Что же ты потерял?

— Молодость.

Он налил себе рюмку водки. Третью? Четвертую?

— А я терпеть не могла быть молодой, — сказала она.

Андре посмотрел на нее, ощутив укол совести. Он ее породил, а потом бросил на дуру мать и какого-то посла.

— Тебе не хватало настоящего отца?

Она замялась:

— Разве что неосознанно. Меня больше занимало будущее. Вырваться из своей среды. Построить крепкую семью. Хорошо воспитать Василия. Быть полезной. А потом, став более зрелой, я ощутила потребность в — как бы это сказать? — корнях. Стало важным прошлое — то есть Франция. И ты.

Она смотрела на него с доверием, и он чувствовал себя виноватым, не только из-за прошлого,

но и потому, что сегодня ему хотелось бы, чтобы ее отцом был более яркий человек.

— Ты, наверно, немного разочарована, что я — всего лишь засушенный плод?

— Что за мысли! Во-первых, еще не все потеряно.

— Нет. Ничего стоящего я уже никогда не сделаю. Разве что в каких-то экстраординарных обстоятельствах, если уеду из Парижа. Но Николь больше нигде не сможет жить. А уж вдали от Франции — и подавно.

Он заговорил об этом однажды, в шутку. И так же в шутку Николь ответила: «Ты умрешь от скуки, и я тоже». Нет. Он часто об этом мечтал. Его мать никого не обременяет своим присутствием, она им не помешает. Он бы садовничал, ловил форель в зеленых водах Гара, прогуливался с Николь по пустошам, читал, бездельничал, а может быть, и работал бы. Может быть. Как бы то ни было, это его единственный шанс. В Париже его не предоставится.

— Все равно, не важно, — сказала Маша. — Я согласна с Николь: надо жить так, как хочется.

— Я не уверен, что она на самом деле так думает. И ты же сама сказала: жаль!

— Я сказала просто так.

Она наклонилась к нему и поцеловала.

— Я люблю тебя таким, какой ты есть.

— А какой я?

Она улыбнулась:

— Напрашиваешься на комплименты? Хорошо! Что меня поразило в 60-м — и поражает до сих пор, — как ты можешь одновременно раздавать себя другим и быть самодостаточным. И потом, твое внимание к любым мелочам: с тобой все становится важным. И ты веселый. Клянусь тебе, что ты остался молодым: моложе всех, кого я знаю. Ты ничего не потерял.

— Коль скоро я нравлюсь тебе таким…

Он тоже улыбался, но сам-то знал, что кое-что все-таки потерял — этот пыл, эту жизненную силу, которую итальянцы зовут таким красивым словом: *stamina*. Он осушил свою рюмку. Наверно, потому он и искал веселого тепла алкоголя. Слишком много, говорила Николь. Но что еще нам остается в наши годы? Он тронул десну. Чуть-чуть чувствительно. Все-таки чуть-чуть. Если дантист не сумеет спасти зуб, на котором держится мост, светит вставная челюсть: вот ужас-то! Он больше не стремился нравиться — но пусть хотя бы, глядя на него, думают, что он нравился когда-то. Но стать совсем уж асексуальным суще-

ством — нет уж! Едва он начал привыкать к тому, что повзрослел, как не успел оглянуться — уже старик. Нет!

— А Николь тоже тяготит старость?

— Думаю, меньше, чем меня.

— Она разочарована, что мы не едем в Ростов?

— Немного.

Неукротимая Николь, с нежностью подумал он. Такая же энергичная и ненасытная, как в двадцать лет. Без нее он бы попросту гулял по улицам Москвы, болтал о том о сем, присаживаясь на скамейки. И может быть, так он лучше проникся бы атмосферой города. Но скажи он ей это, она огорчится, а этого он не хотел ни за что на свете.

— Пять часов! А она ждет нас в пять, — встрепенулась Маша. — Идем скорее.

И они пулей вылетели из квартиры.

* * *

Квартира Маши очень нравилась Николь. Двор был унылый, лестница грязная, ржавый железный лифт часто застревал; но три небольшие комнатки — по одной на каждого плюс кухня и ванная — со вкусом обставлены: несколько фотографий на стенах, хорошо подобранные

репродукции, красивые ковры, которые Юрий привозил из Средней Азии, вещицы, собранные Машей в пору ее кочевого детства. Спускаясь по лестнице, Николь вдруг затосковала по своей квартирке, своей мебели, своим вещам. Она стояла у нее перед глазами — такая, как в то утро, когда они уехали в Москву, — с большим букетом свежих и наивных, как пучки латука, роз на столе. Здесь она никогда не видела роз. И с самого приезда — десять дней — не слышала музыки: ее отсутствие она ощущала почти физически. Она свернула за угол, на большой проспект, который вел к гостинице. В Париже она знала все магазины на бульваре Распай; многие лица были ей знакомы, все с ней заговаривали. Здешние лица ничего ей не говорили. Почему она оказалась так далеко от своей жизни? Был чудесный июньский день. Летел пух с тополей, в пушистых ручейках у тротуаров копошились голуби. Белые хлопья кружили вокруг Николь, лезли в нос, в рот, цеплялись за волосы, не давая покоя. Вот так же они кружили в библиотеке и цеплялись за волосы в тот день, когда она, в каком-то смысле, простилась со своим телом. Да, и раньше уже были знаки. В зеркале, на фотографиях ее изображение поблекло — но она

еще узнавала в нем себя. Беседуя с друзьями-мужчинами, чувствовала себя женщиной. А потом этот незнакомый мальчик — такой красивый — пришел с Андре; он пожал ей руку с рассеянной учтивостью, и что-то рухнуло. Для нее он был самцом, молодым и привлекательным; для него она была такой же асексуальной, как восьмидесятилетняя старуха. Этот взгляд так и жалил ее; она больше не совпадала со своим телом: то была чужая оболочка, жалкий маскарад. Может быть, времени на эту метаморфозу ушло побольше, но память сконцентрировала ее на этой картине: два бархатных глаза, равнодушно от нее отвернувшиеся. С тех пор в постели она стала ледышкой: надо хоть немного любить себя, чтобы получать удовольствие от объятий. Андре не понял ее, но мало-помалу и он заразился ее холодностью. Воспоминание возвращалось каждое лето, в это самое время, но оно уже давно не ранило ее. Она обычно противилась этой смутной весенней ностальгии, которую пробудил в ней танец пушинок, мысленно возвращаясь в ту пору, где каждый прекрасный день был полон обещаний. Сегодня же она чувствовала себя одновременно томной и взвинченной: не в своей тарелке. «Почему?» — спросила она себя

в гостиничном номере. Она села на подоконник, посмотрела на машины, которые устремлялись в туннель, чтобы вынырнуть по другую сторону улицы Горького. «Думаю, мне немного скучно», — сказала она себе. Она не находила в Москве особой прелести. Поскучать немного — ничего страшного. Они поедут в Ленинград, увидят Псков и Новгород. Она взяла книгу. Обычно, чтобы избавиться от плохого настроения, ей достаточно было себе его объяснить; но слово «скука» прозвучало, а дискомфорт не проходил. «Унылая эта комната», — сказала она себе. Унылая комната — что это значит? Когда Филипп сообщил ей о своей женитьбе, яркая гармония подушек, грация гиацинтов, прекрасная репродукция Никола де Сталя не помогли. И все же в обычные моменты, вот как сейчас, веселого цвета, изящной формы, красивой вещицы достаточно, чтобы подстегнуть ваш вкус к жизни. Здесь же — ничего. Ни зрелище улицы, ни стены, ни мебель ее не утешали. О чем печаль? «Андре! — вдруг сказала она себе. — Я вижу его постоянно. Я его вообще не вижу». В 63-м Маша была занята своей работой; в этом году она не оставляла их ни на минуту. С ее стороны это внимание было естественно. Но Андре — разве ему никогда

не хотелось остаться наедине с Николь? Неужели он так изменился? Когда-то, очень, очень давно из них двоих он был более пылким. Она тогда еще не созрела для страсти; страсть ведь подразумевает ущерб, надрыв, что-то нуждающееся в компенсации: у него это было тяжелое детство, сухость матери, неудачная любовь с Клер. На нее же, наоборот, родители не могли надышаться, и любовь не была главным в ее жизни: она хотела самореализоваться. Это она после любви первой вскакивала с постели. Он пытался удержать ее, шепча: «Не уходи: мне плохо без тебя». (Она часто, немного нехотя, уступала.) А потом, на всем протяжении их долгой жизни, ее потребность в нем и радость, которую он ей приносил, лишь росли. И не скажешь, кто из них двоих сегодня больше дорожит другим. Спаяны, как сиамские близнецы: он — моя жизнь, я — его. И вот ведь: он не страдает, не стремится остаться с ней наедине. Неужели его чувства остыли? Случается, что вместе со старостью приходит равнодушие: его не так потрясла смерть родной сестры, как когда-то смерть отца. Сказать ему об этом? Это может его огорчить. Она отложила книгу и легла на кровать: слишком плотный завтрак, слишком много водки, ее сморило.

«Где я, кто я?»

Каждое утро, еще не открыв глаза, она узнавала свою кровать, свою комнату. Но иногда, уснув после обеда, испытывала при пробуждении эту детскую оторопь: почему я — это я? Как будто ее сознание, вынырнув из тьмы безымянным, не сразу решалось воплотиться. Ее удивляло — словно ребенка, когда он осознает себя как личность, — что она оказалась в своей собственной жизни, а не в другой: по какой случайности? Она могла не родиться — тогда не было бы и вопроса: «Я могла бы быть другой, но тогда эта другая задавалась бы вопросами о себе». Голова шла кругом от сознания случайности и одновременно необходимого совпадения со своей историей. Николь шестьдесят лет, она преподаватель на пенсии. На пенсии: ей с трудом в это верилось. Она вспоминала первую должность, первый класс, опавшие листья, хрустевшие под ногами в ту провинциальную осень. Тогда выход на пенсию, отделенный от нее промежутком времени вдвое большим — или почти, — чем тот, что она прожила, казался ей нереальным, как сама смерть. И вот он настал. Порой она с тоской вспоминала эту дверь, в которую ей больше не войти, натертый пол в коридорах, топот и смех, которых

она уже никогда не услышит. Она пересекала и другие границы, но более размытые. Эта же была четкой, как железный занавес. «Я по другую сторону». Она встала, причесалась. Решительно, она набирает вес. Как раздражает, что нет весов. Половина шестого. Почему он еще не вернулся? Он же знает, как она ненавидит ждать.

Она ненавидела ждать, но, когда он появился, у нее так потеплело на сердце, что ожидание забылось.

— Мы не смогли найти такси. Шли пешком.

— Ничего страшного, — сказала она.

— Мы хорошо поработали, — сообщил Андре.

— И выпили несколько рюмок водки.

Она безошибочно подмечала этот чуть заплетающийся язык и слегка неуверенные движения, говорившие о том, что Андре немного выпил. Это еще не были отчетливые признаки: она называла их предпризнаками.

— У тебя предпризнаки, — добавила она.

— Я выпил немного водки, но никаких предпризнаков у меня нет.

Она не стала настаивать. Ей самой не хотелось портить ему удовольствие; но она боялась за его здоровье, давление было высоковато. Порой она просыпалась среди ночи: «Ему грозит рак легко-

го, инфаркт, кровоизлияние в мозг».

— Смотри, — не унимался Андре. — Безупречное равновесие.

Он обнял Машу за талию и закружил по комнате, напевая вальс. Странно было видеть его с другой женщиной: хоть у нее были его глаза, его подбородок, Николь порой забывала, что это его дочь. У Андре находились для нее слова, обольстительные улыбки, которые раньше, в молодости, он дарил Николь. Мало-помалу они перешли друг с другом на резковато-дружеский тон, их жесты стали почти грубыми — чья вина? Моя, конечно, подумала она с сожалением. Слишком хорошо воспитанная, слишком закрытая… почти зажатая. Это он сразу решил, что они перейдут на «ты», и иной раз избыток его нежности смущал ее. Мало-помалу она вернулась к своей былой сдержанности: старые супруги, воркующие, как голубки, — это было бы смешно. И все же в глубине души она ревновала его к близости с Машей и корила себя за то, что не сумела сохранить в отношениях с Андре ту нежную свежесть. Вновь взяла верх эта застарелая строгость, которую она так до конца и не изжила, потому что так до конца и не смирилась со своим уделом женщины. (А между тем, ни один мужчина

не смог бы так хорошо, как Андре, помочь ей к нему приспособиться.)

— Вы любите танцевать? — спросила она.

— С хорошим танцором да, обожаю.

— А я так и не научилась.

— Да ну? Почему же?

— Потому что ведет кавалер: в молодости я была глупа. А потом стало слишком поздно.

— А я люблю, когда меня ведут, — сказала Маша. — Так я отдыхаю.

— При условии, что вас ведут туда, куда вы хотите, — ответила Николь, улыбаясь ей с симпатией.

Она редко симпатизировала женщинам. Своим ученицам — да: дети, подростки, можно было надеяться, что они не будут похожи на старших. Но взрослые! Молодые все похожи на Ирен; они с показным усердием «были женщинами», как будто женщина — это профессия! Те, что постарше, возвращали Николь к ее детским бунтам, напоминая ей мать. «Девочка не может». Ей не быть ни путешественником, ни летчиком, ни капитаном дальнего плавания. Девочка. Муслин, органди, слишком ласковые мамины руки, мягкое тесто ее объятий, ее духи, которые липли к моей коже. Мать мечтала, что у Николь будет

богатый муж, а еще меха и жемчуга. И началась борьба. «Девочка может». Она продолжила учебу, поклявшись себе пойти наперекор своей судьбе: она напишет потрясающую диссертацию, получит кафедру в Сорбонне, она всем докажет, что женский мозг не хуже мужского. Ничего этого не случилось. Она преподавала и была активисткой феминистских движений. Но, как и другие — те самые другие, которых она не любила, — она отдала себя на съедение мужу, сыну, семье. Вот Маша наверняка никому не даст себя съесть. Однако ей вполне комфортно быть женщиной: наверно, потому, что она с пятнадцати лет живет в стране, где у женщин нет комплекса неполноценности. Маша им явно не страдала.

— Кто кого ведет ужинать, куда и в котором часу? — спросила Николь.

— Я заказала столик на семь тридцать в «Баку», — сказала Маша. — Вполне успеем до этого прогуляться. Сейчас хорошее время.

— Идемте прогуляемся, — согласилась Николь.

Плохое настроение прошло. Андре приехал сюда повидать Машу: естественно, что он старается проводить с ней как можно больше времени. Она весело предвкушала вечер, который они проведут втроем.

* * *

Гостиница, в которой они остановились в Ленинграде, очаровала Андре. Длинные коридоры, в которые выходили жемчужно-серые двери с овальным стеклом наверху, обрамленным фестонами в стиле рококо и затянутым шелковой занавесочкой, на разных этажах — розовой, зеленой или голубой. В номере — альков, скрытый занавеской, и трогательная допотопная мебель: тяжелый письменный стол под мрамор, черный кожаный диван, столик, покрытый скатертью с бахромой. Люстры с хрустальными подвесками освещали обеденный зал, где полуголая мраморная девушка поправляла — или снимала? — платье с лукавой улыбкой.

— Обслуживают так же медленно, как в Москве! — заметила Николь. — К счастью, оркестр не слишком грохочет.

— Да уж, они не торопятся, — согласился Андре, провожая глазами официанта, подошедшего к сервировочному столику; он поставил на него стакан, да так и остался стоять, созерцая его с задумчивым видом. Все двигались неуверенно и как-то беспорядочно, должно быть, выводя из себя спешащих клиентов. Строители, земле-

копы, которых они видели на улицах, служащие, продавцы в магазинах производили то же впечатление наплевательства. А между тем, эта страна не была населена лентяями: иначе они не добились бы в некоторых областях таких поразительных успехов. Наверно, ученые и инженеры, получая другое образование, отличались иным менталитетом.

— А! Вот и счет, — сказала Маша.

Они вышли на улицу. Как хорош был свет в десять часов вечера! В полдень краски дворцов приглушали яркие солнечные лучи. Теперь же голубое, зеленое, красное нежно трепетало под бледнеющим солнцем.

— Чудесный город, — сказала Николь.

Чудесный. Под северным небом изящество и великолепие итальянского барокко. А как весело было на набережных Невы, чьи воды голубовато-белого цвета! Как много молодежи, они шли группами и пели.

— А ты все-таки хочешь поехать в Псков и в Новгород.

— Время есть на все, — заверила Маша.

Наверно, но лично он с удовольствием остался бы на десять дней здесь. Ленинград. Петроград. Санкт-Петербург. Он хотел узнать о нем все и да-

же — неосуществимая мечта — узнать все сразу. Осажденный город, зимний день, мужчины и женщины идут, пошатываясь, в снегу и падают, чтобы больше не подняться, мертвые тела везут на санках по обледеневшей земле. На Невском проспекте лежали вповалку трупы, бежали люди, свистели пули, моряки шли на штурм Зимнего дворца. Ленин. Троцкий. Нельзя ли наложить на эти картины великую эпопею его отрочества, такую тогда далекую, такую близкую сегодня, ибо его ноги ступали по тем самым местам, где она происходила? Декор остался прежним — но он не помогал воскресить людей и события. Наоборот. Историкам удается отчасти их воспроизвести, но чтобы следовать за ними, надо оставить мир настоящего, закрыться в тишине кабинета наедине с книгой; на этих улицах плотность, густота действительности отторгала миражи прошлого; невозможно вписать его между этих камней. Но оставался Ленинград этим вечером, прекрасной белой ночью. В 63-м они приезжали в августе, солнце садилось рано. Сегодня оно не садилось вовсе. Было празднично. На набережных парни и девушки танцевали под звуки гитары. Другие играли на гитарах, сидя на скамейке на Марсовом поле, шелестев-

шем сиренью, — была тут и сирень с пышными гроздьями, похожая на французскую, и японская сирень, более скромная, с пряным ароматом. Они сели на скамейку. Эти парни с гитарами — кто они такие? Студенты, служащие, рабочие? Он не стал спрашивать Машу. Слишком часто она затруднялась с ответами и поэтому огорчалась. Она не слишком хорошо владела информацией, это разочаровывало Андре. Быть может, в этой стране ей не доверяли из-за ее иностранного происхождения, или расслоение в обществе было довольно значительным, как и везде, но она ничего не знала о жизни рабочих, крестьян, не знала и о колоссальном научно-техническом прогрессе, а Андре так хотелось побольше узнать обо всем.

— Моя первая белая ночь, — сказала Маша. — Мне было пятнадцать лет. Я пришла в восторг. И не понимала, как мои родители могли оставаться такими спокойными. В тот день я подумала, что стареть — это ужасно.

— Но теперь вы больше так не думаете, — сказала Николь.

— В своем возрасте я чувствую себя гораздо более комфортно, чем когда-либо, — ответила Маша. — А вы жалеете о своей молодости?

— Нет, — Николь покачала головой и улыбнулась Андре: — Если только ты стареешь не одна.

«Моя первая белая ночь», — отозвалось в Андре мысленным эхом. Стало не по себе: эта дивная белая ночь ему не принадлежала; он мог лишь присутствовать, не более того, эта ночь была не его. Они пели, смеялись, но он чувствовал себя за бортом: турист. Ему никогда не нравилось быть туристом. Но все же в странах, где туризм — национальная индустрия, прогуливаясь, можно вписаться в жизнь города, страны. На террасах итальянских кафе или в лондонских пабах он был клиентом среди многих других, эспрессо для него имел тот же вкус, что и для римлян. Здесь же людей можно было узнать, лишь поработав с ними вместе. Он за бортом их досуга, потому что не причастен к их делам. Бездельник. Никто в этом саду не был бездельником. Только они с Николь.

И никому не было столько лет, сколько им. Какие они все молодые! Он тоже когда-то был молод. Ему вспомнился тогдашний жгучий и нежный вкус жизни: молодые этой ночью тоже остро его чувствовали, они улыбались будущему. Что такое настоящее без будущего, даже в запахе сирени и прохладе полуночной зари? На миг ему

подумалось: это сон, сейчас я проснусь и вернусь в свое тело, мне двадцать лет. Нет. Взрослый, пожилой человек, почти старик. Он смотрел на молодежь с завистливой оторопью: ну почему я больше не такой? Как это случилось со мной?

Они пешком вернулись из Эрмитажа, где провели два часа: их третий визит в этом году, они посмотрели все, что хотели посмотреть. Завтра они уедут в Псков, посетят усадьбу Пушкина; там сейчас такая красота, говорила Маша, и Николь заранее радовалась, что насладится запахом травы. Ленинград — очень красивый город, но в нем задыхаешься. Она взяла ключ, протянутый дежурной по этажу; та передала Маше записку: ее срочно вызывали в Интурист.

— Опять будут неприятности, — вздохнула Николь.

— Наверно, надо утрясти какие-то детали, — успокоил ее Андре.

Его неистребимый оптимизм! Он уткнулся в русскую грамматику, а она развернула «Юманите».

Ей хотелось поехать на машине: пейзаж, свежий воздух новизны. Эрмитаж, Смольный, дворцы, каналы: она знала их как свои пять пальцев и уже не хотела оставаться здесь даже

на три дня.

Маша распахнула дверь: «В разрешении отказано!» — сказала она со злостью.

— Я так и знала! — уныло вздохнула Николь.

— Я сражалась с типом из Интуриста. Но он человек маленький, повинуется приказам. Зла не хватает. Просто зла на них не хватает.

— На кого — на них? — уточнил Андре.

— Я толком не знаю. Он ничего не захотел мне сказать. Может быть, там проводятся какие-то маневры. Но скорее всего, ничего особенного не происходит.

Это уж слишком, сказала себе Николь, чувствуя нарастающую панику. Раздражение перед малейшим препятствием, страх заскучать — это все нервное. Полно. Уехать завтра же в Новгород — но в гостинице не будет мест, здесь надо все бронировать заранее. Тогда в Москву — и пребывание в ней затянется до бесконечности. Надо срочно что-то придумать.

— А эта экскурсия, о которой вы говорили? Монастырь на острове?

— Тоже запретят.

— Можно все-таки попробовать.

— Ах! Нет уж! — воскликнул Андре. — Не станет она начинать снова всю эту волокиту, чтобы

опять услышать отказ. Останемся здесь. Скажу тебе честно, у меня нет никакого желания смотреть этот монастырь.

— Ладно, закрыли тему, — сказала Николь.

Оставшись одна, она тут же дала волю гневу: «Три дня скучать здесь!» Ей вдруг показалось скучным абсолютно все: прямые проспекты, однообразные улицы, бесконечные ужины под музыку, гостиничный номер и нескончаемые споры Маши с Андре: он защищал китайцев, которых она ненавидела и побаивалась, критиковал политику мирного сосуществования, которую она поддерживала. Так они и переливали из пустого в порожнее. Или Андре рассказывал Маше истории, которые Николь знала наизусть. Она по-прежнему не виделась с мужем наедине, разве что они оставались вдвоем совсем недолго, чтобы между ними мог завязаться разговор; он утыкался в русскую книгу, она в газету… Она прижалась лбом к оконному стеклу. До чего же эта большая, темная с охрой церковь безобразна! «В разрешении отказано». Если бы она хоть могла поспорить, побороться. Но все лежало на Маше, которая, быть может, слишком быстро опускала руки. Как раздражала эта зависимость. Поначалу она забавляла Николь,

но теперь стала тяготить. В Париже она сама строила свою жизнь, принимая решения вместе с Андре или самостоятельно. Здесь же инициативы, идеи принадлежали другой; она была лишь элементом в мире Маши. Николь посмотрела на свои книги; она взяла их с собой совсем немного, и те, что были ей по-настоящему интересны, успела прочесть в Москве. Она вернулась к окну. Площадь, сквер, люди на скамейках — все казалось унылым в прямом послеполуденном свете. Время текло еле-еле. Ей хотелось сказать, что это ужасно — это несправедливо, что время одновременно может лететь и тянуться. Она вошла в двери Бургского лицея почти такой же молодой, как ее ученики, тогда она с жалостью смотрела на старых преподавателей с серыми волосами. И — опля! Она сама стала старой преподавательницей, а потом дверь лицея закрылась и за ней. Много лет, преподавая в классах, она жила иллюзией, что не меняется: каждый сентябрь она встречала учеников, все таких же юных, и на нее тоже как будто распространялась эта незыблемость. В океане времени она была скалой, о которую снова и снова бьются волны, а она, скала, не движется с места и не стареет. И вот теперь поток уносил ее — куда? К смерти. Жизнь траги-

чески утекала. Но однако же текла она неспешно, по капле, час за часом, минута за минутой. Всегда надо было ждать, пока растает сахар, пока померкнет воспоминание, пока зарубцуется рана, пока рассеется скука. Как странно рассечены эти два ритма. Дни мои мчатся галопом, но в каждый из них я маюсь оттого, что время тянется слишком медленно.

Она отвернулась от окна. Какая пустота в ней, вокруг нее, насколько хватает глаз. В этом году она помогала Филиппу в его изысканиях. Теперь он продвинулся так далеко, что она больше не могла быть ему полезна. И жил он отдельно. Читать просто так, без цели — такое времяпрепровождение было едва ли интереснее кроссвордов или игры «найди семь различий». Она тогда сказала себе: «У меня есть время, и все мое время я могу потратить на себя, вот удача-то!» Нет, никакая не удача, если тебе нечего делать. И даже — теперь она понимала — избыток досуга обедняет. Острое, неожиданное удовольствие, которое дарили ей порой — прежде — солнечный блик на шиферной крыше, цвет неба, пронзало ее, когда она выходила рано утром из дома или выныривала из метро. Когда же она шла, свободная, неспешным шагом по улицам,

оно куда-то пряталось. Солнечный свет намного острее чувствуешь, когда он просачивается сквозь жалюзи, чем если тебе в лицо бьют его знойные лучи.

Николь никогда не выносила скуки. А в этот день она страдала от нее до сердцебиения, ибо она, скука, протянула свои щупальца в ее будущее. Годы и годы скуки, пока не придет смерть. «Если бы только у меня были планы, если бы я могла устроиться на какую-нибудь работу!» — думала она. Слишком поздно. Надо было заняться этим раньше, она сама виновата. Нет, не она одна. Андре ей не помог. Более того, он исподволь оказывал на нее давление. «Хватит тебе работать, оставь эти тетради, идем спать… Полежи еще немного… Пойдем погуляем… Я приглашаю тебя в кино». Он, сам того не сознавая, пресекал все поползновения Николь… «Почему я не сопротивлялась?» — подумалось ей. Она сама себе придумывала обиды. Но это потому, что она действительно была обижена на него. Он решил, даже не обсудив с ней: «Останемся здесь!» И главное, главное — он не приложил ни малейшего усилия, чтобы хоть немного держать на расстоянии Машу; ему это даже в голову не пришло. Неужели он стал меньше дорожить мной? В Па-

риже мы связаны сетью привычек так тесно, что не остается места ни для каких вопросов. Но под этим панцирем — что сохранилось между нами живого и настоящего? Я знаю, что он значит для меня, но откуда мне знать, что я значу для него? «Я с ним поговорю», — решила она. В Москве Маше есть чем заняться, они не обязаны держать ее все время рядом с собой. Зачем, однако, выкраивать встречи наедине, если у него не возникает такого желания? Нет. Не станет она с ним говорить. Она начала писать письмо Филиппу.

— Эта церковь действующая. Хотите зайти? — спросила Маша.

— Конечно, — ответила Николь. — О! Какой чудный золотистый свет.

На стенах, на иконостасе мягко поблескивали иконы, и даже тень казалась расплавленным золотом. Но от запаха у Андре подступал комок к горлу: пахло ладаном, свечами и старыми бабами, которые стояли на коленях на полу, бормоча молитвы, били поклоны и целовали камень. Зрелище еще более шокирующее, чем в католических храмах. Из угла слева доносился гнусавый голос. Они подошли ближе. Странное действо. Вокруг попа с длинной черной шелковой бородой

и в полном облачении мужчины и женщины, все молодые, ходили по кругу, держа на руках младенцев в белых рубашечках; младенцы плакали. Поп обрызгивал их из кропила, нараспев читая молитвы. Это казалось игрой, родители укачивали кричащих младенцев и ходили, ходили по кругу.

— Общее крещение! Я никогда этого не видела, — сказала Маша.

— Здесь часто крестят детей?

— Если не хотят огорчать старую верующую мать.

— А вон там — что это такое? — спросила Николь.

У стены стояли в ряд ящики — пустые гробы… А еще шесть рядком на полу, и в каждом покойник: открытые восковые лица с подвязанными челюстями — все похожи друг на друга.

— Давайте уйдем, — попросила Николь.

— Тебе тяжело это видеть?

— В общем да. А тебе?

— Нет.

О своей собственной смерти он думал равнодушно: жить, выживать казалось ему труднее, чем умереть. О чужой же… Он зачерствел сердцем. В двадцать пять лет он рыдал, потеряв отца.

И вот два года назад без единой слезинки похоронил свою сестру, хоть очень ее любил. А его мать? Маша подумала об этом одновременно с ним.

— Мне бы хотелось повидать бабушку, пока она жива, — сказала она. — Ты будешь горевать, когда она умрет?

Он поколебался:

— Не знаю.

— Но ты же ее обожаешь! — удивленно воскликнула Николь. — Я буду горевать, — добавила она. — И потом, это так странно… Теперь мы на краю пропасти, перед нами больше не будет никого. Наша очередь.

Они вернулись в такси на Невский проспект и сели в кафе под открытым небом.

Он заказал коньяк — не очень хороший, но водки в кафе не подавали. Чтобы отпугнуть пьяниц, коньяк стоил намного дороже. Между тем, многие приносили с собой бутылку водки в кармане.

— Здесь многих хоронят по религиозному обряду?

— Нет. Это тоже в основном старухи просят отслужить молебен по покойникам. — Маша поколебалась: — И все-таки я зашла однажды утром в воскресенье в московскую церковь и удивилась. Там было много людей среднего возраста

и даже молодых. Гораздо больше, чем раньше.

— Досадно, — вздохнул Андре.

— Да.

— Если людям хочется верить в небеса, это значит, что они мало во что верят на земле. А стало быть, политика роста благосостояния, которую начали здесь проводить, не так хороша, как ты говоришь.

— О! Благосостояние! Не преувеличивай, — ответила Маша. — Я никогда не отрицала, что в идеологическом плане мы переживаем сегодня период спада, — добавила она.

— И сколько же продлится этот период?

— Не знаю. Есть молодые люди, такие, как Василий и его товарищи, они полны энтузиазма. Они будут бороться за социализм, не исключающий ни счастья, ни свободы.

— Прекрасная программа, — скептически заметил Андре.

— Ты в это не веришь?

— Я этого не говорил. Но я, во всяком случае, такого социализма не увижу.

Да, его настроение имело название, и оно ему не нравилось, но пришлось его признать: разочарование. Он в принципе терпеть не мог, когда люди, вернувшись из Китая, с Кубы или даже

из США, говорили: «Я был разочарован». Они зря *a priori*[8] составляли себе представление, которое потом опровергали факты; в этом были виноваты сами люди, а не жизнь. И все же что-то подобное испытывал сейчас Андре. Быть может, все было бы иначе, если бы он посетил девственные земли Сибири, города, где работали ученые. Но в Москве и в Ленинграде он не нашел того, что надеялся увидеть. А что он, собственно, надеялся увидеть? Трудно сформулировать. Как бы то ни было, он этого не нашел. Конечно, разница между СССР и Западом огромна. В то время как во Франции технический прогресс лишь углубляет пропасть между привилегированными и эксплуатируемыми классами, здесь экономические структуры работают, чтобы однажды плодами этой работы воспользовались все. Социализм рано или поздно станет реальностью. Однажды он победит во всем мире. То, что происходит сейчас, — просто период спада. Во всем мире — кроме разве что Китая, но сведения о нем ненадежны и малоутешительны, — переживают период спада. Бог даст, переживут. Это возможно, это вероятно. Вероятность, проверить которую

[8] Примечания: 8
Из предыдущего, на основании ранее известного.

Андре не суждено. Для молодых этот период не хуже любого другого, не хуже, чем в пору его двадцати лет: вот только эти годы, которые были для них отправной точкой, для него стали концом — падением. В его возрасте подъема, который, может быть, и наступит когда-нибудь, он уже не увидит. Дорога, ведущая к благу, хуже зла, сказал Маркс. Молодой человек с иллюзией вечности впереди одним прыжком одолевает путь; а позже уже не хватает сил на преодоление того, что называют издержками истории, и они кажутся непомерно значительными. Он полагался на историю, чтобы оправдать свою жизнь, — но больше он на нее не рассчитывал.

* * *

В конечном счете время прошло довольно быстро. Два славных денька в Новгороде; и меньше, чем через неделю, снова Париж, ее жизнь и Андре. Он улыбался ей.

— Ты хотела съездить на дачу — ну вот, все улажено! — сообщил он.

— Какая Маша милая!

— Это дача ее подруги, километрах в тридцати от Москвы. Юрий отвезет нас туда на машине, не в это воскресенье, в следующее.

— В следующее? Но во вторник мы уезжаем.

— Да нет, Николь: ты же знаешь, мы решили остаться еще на десять дней.

— Вы это решили, даже не сказав мне ни слова! — возмутилась Николь.

Красное марево вдруг поплыло в ее голове, красным туманом заволокло глаза, что-то красное кричало в горле. Ему плевать на меня! Даже ни слова не сказал!

— Да нет же, по́лно, я тебе об этом говорил. Я никогда бы не принял такое решение, не посоветовавшись с тобой. Ты согласилась.

— Ложь!

— Это было в тот день, когда я выпил немного водки у Маши, и ты сказала, что у меня предпризнаки. Мы ужинали в «Баку». После ужина, когда мы остались одни, я тебе об этом сказал.

— Ты ничего никогда мне об этом не говорил. Ты сам это отлично знаешь. Клянусь тебе, я бы не пропустила это мимо ушей. Ты все решил без меня, а теперь лжешь.

— Ты просто забыла. Послушай: разве я когда-нибудь ставил тебя перед свершившимся фактом?

— Когда-то же надо начинать. А ты вдобавок еще и лжешь. И это не в первый раз.

Раньше он никогда не лгал. Но в этом году, в мелочах, ему случалось солгать — дважды. Он оправдывался, смеясь: «Это возраст; я становлюсь ленив; объясняться было бы слишком долго, и я пошел кратчайшим путем». Он обещал, что это больше не повторится. И вот это повторилось. И сегодня это было серьезнее, чем выпитая тайком бутылка или скрытый визит к врачу. Злость. Редко, очень редко она злилась на Андре. Но уж если случалось, это было торнадо, уносившее ее за тысячи километров от него и от себя самой, от своей жизни, от своей телесной оболочки в жуткое одиночество, одновременно жгучее и леденящее…

Он смотрел на изменившееся насупленное лицо с плотно сжатыми губами, это лицо, которое так пугало его когда-то и глубоко волновало до сих пор. Я ей говорил, она забыла. Тогда ей еще нравилось здесь, десятью днями больше или меньше, какая разница? Мало-помалу она заскучала, тосковала по Филиппу, меня ей недостаточно, ей всегда было недостаточно одного меня. Я сказал ей об этом после ужина в «Баку». Но, подобно всем, кто считает свою память непогрешимой, она и мысли не допускала, что может ошибаться. А ведь она прекрасно знала, что он

ничего не решал, не посоветовавшись с ней, и в этой поездке тоже он во всем шел у нее на поводу. Десять лишних дней в Москве — подумаешь, большое дело.

— Послушай, еще десять дней здесь — это не трагедия.

Глаза Николь полыхнули яростью, кажется, даже ненавистью:

— Мне скучно! Ты не понимаешь, что мне скучно!

— О! Я все понимаю. Ты скучаешь по Филиппу и по своим друзьям. Я прекрасно знаю, что я один никогда не мог тебе их заменить.

— Уйди, оставь меня. Видеть тебя не могу. Уйди.

— А Юрий и Маша? Они ждут нас внизу.

— Скажи им, что у меня разболелась голова. Скажи, что хочешь.

Он закрыл за собой дверь, совершенно растерянный. «Неужели ей так скучно со мной?» Она даже не возразила, когда он сказал: «Я один никогда не мог тебе их заменить». Он не так уж рвался остаться в Москве, но так хотела Маша, и он не желал огорчать ее. Николь должна бы понять… Но поссориться с ней — это выше его сил. Всякое несогласие между ними было ему невыно-

симо. Ладно, он вернется сразу после ужина, и она наверняка согласится его выслушать. Кто знает, а может быть, он действительно забыл сказать ей об этом? Нет, он ясно помнил эту сцену: он сидел на своей кровати в пижаме, она расчесывала волосы. Что она ответила? «Почему бы нет?» или что-то в этом роде. Я никогда ничего не решаю без нее, она это прекрасно знает.

Как только закрылась дверь, дыхание перехватило от хлынувших слез. Будто, хоть он и не умер, она навсегда потеряла Андре. Меньше, чем за минуту, может отсечь голову гильотина; меньше, чем за минуту, одна фраза рассекла узы, связывающие ее с Андре: как могла она воображать, что они неразрывно спаяны друг с другом? Их прошлое давало ей повод быть уверенной в том, что она дорога ему не меньше, чем он ей. Но люди меняются, и он изменился. То, что ей солгал, не самое скверное: солгал он из трусости, как ребенок, который боится, что его будут ругать. Самое скверное, что, принимая это решение с Машей, он вовсе не брал ее в расчет, что он о ней совершенно забыл, даже не подумав посоветоваться с ней или хотя бы ее предупредить. Надо иметь мужество смотреть фактам в лицо: за три недели он ни разу не попытался остаться

со мной наедине; все его улыбки, вся нежность обращены исключительно к Маше; а на мои желания — ему наплевать. «Останемся в Москве. Останемся в Ленинграде». Ему здесь нравилось. И он был уверен, что и ей нравится тоже. Это уже не любовь: я стала для него просто привычкой.

Ей было невыносимо находиться в этой комнате. Она привела в порядок лицо и вышла на улицу. Нужно пройтись: она часто это делала, чтобы успокоить свои страхи или гнев, отогнать неприятные образы. Вот только ей было уже не двадцать лет и даже не пятьдесят, и усталость быстро одолела ее. Они присела на скамейку в сквере напротив пруда, по которому плыл лебедь. Люди поглядывали на нее, проходя мимо, наверно, у нее был потерянный вид, или просто в ней узнавали иностранку. Он, конечно, сейчас обедает с Юрием и Машей в ресторане речного вокзала на берегу Москвы-реки, как они и планировали. Возможно, этот вечер будет приправлен для него привкусом горечи, да и то не факт: он как никто умел жить минутой, не помня о неприятном. Он забыл ее, отмахнулся, сказал себе, что она скоро успокоится. Он всегда был таким: коль скоро он счастлив, должна быть счастлива и она. На самом же деле

в их жизнях отсутствовала истинная симметрия. Он имел в точности то, чего хотел: дом, семью, детей, досуг, удовольствия, дружбу и кое-какую деятельность. Она же отказалась от всех чаяний своей юности — из-за него. Он так и не захотел этого понять. Из-за него она стала этой женщиной, не знающей, как потратить оставшийся ей период жизни. Другой бы побуждал ее работать, вдохновлял бы своим примером. А он, наоборот, отговаривал ее. Вот она и осталась с пустыми руками, не имея ничего на свете, кроме него, — да и его, оказывается, у нее нет. Жестокое противоречие гнева, рожденного от любви и любовь убивающего. Каждую секунду, вспоминая лицо, голос Андре, она распаляла в себе обиду, опустошавшую ее. Есть такие болезни, когда ты сам становишься виновником своих мучений: каждый вздох раздирает легкие, но ты все же вынужден дышать. «И что теперь?» — тупо спросила она себя, вернувшись в гостиницу. Выхода нет. Они будут продолжать жить вместе, она запрячет поглубже свои обиды… Сколько пар прозябают так, в смирении, в компромиссе. В одиночестве. Я одна. Рядом с Андре — я одна. Нужно убедить себя в этом.

Она открыла дверь номера. На кровати ва-

лялась пижама Андре, на полу — его тапочки, трубка и пачка табака на тумбочке у кровати. На миг она так остро ощутила: вот же он, он здесь! — как будто что-то вынудило их расстаться — болезнь, изгнание, — но она вновь обрела его, глядя на эти брошенные вещи. На глаза навернулись слезы. Она взяла себя в руки. Нашла в аптечке снотворное, приняла две таблетки и легла.

«Я одна!» Страх обуял ее: страх жить куда нестерпимее, чем страх умереть. Одна, точно камень среди пустыни, но обреченная сознавать свое никчемное присутствие. Все ее тело, сжатое, как пружина, выражало безмолвный крик. А потом, согревшись в простынях, она провалилась в сон.

Утром, когда она проснулась, он спал, свернувшись клубочком и упираясь рукой в стену. Она отвела глаза. Никакой тяги к нему. В сердце было холодно и сумрачно, как в заброшенной часовне, где не горит ни одна лампада. Тапочки, трубка больше ее не трогали: они не свидетельствовали о дорогом прошедшем; они лишь принадлежали чужаку, жившему с ней под одной крышей. «О! Я его ненавижу, — в отчаянии сказала она себе. — Он убил всю мою любовь

к нему!»

Она расхаживала взад-вперед по комнате, безмолвная, враждебная. Не раз в их молодости он наталкивался на это каменное лицо: «Я не допущу… Нельзя…» Тогда он цепенел от этой суровости. Он был старше ее по возрасту, но долго смотрел на всех взрослых как на старших. Сегодня она его раздражала: «Сколько еще она будет на меня дуться?» Это уж слишком. Он сделал все, чтобы она была довольна этой поездкой. Да и всей их жизнью. Он и в Париже оставался из-за нее… Даже если она забыла тот разговор, должна была ему поверить. Как будто воспользовалась случаем — какие обиды она таила? Жалела, что не вышла замуж за более успешного мужчину? Значит, не любила его по-настоящему. Если бы любила, не заскучала бы с ним. В начале их брака он страдал от ее холодности; но он говорил себе, что настанет день… И вот он подумал, что этот день настал. Надо полагать, нет. Он ждал от старости единственной награды: Филипп женится, она на пенсии, вот и будет Николь полностью принадлежать ему. Но если она не любит его, если его одного ей мало, если она копит обиды, то эта его мечта об одиночестве вдвоем несбыточна. Их ждет унылая старость

людей, которые остаются вместе только потому, что после определенного возраста уже не могут по-настоящему расстаться. Нет, он не мог в это поверить. Неужто это одна и та же женщина, та, чья улыбка еще вчера светилась нежностью, и та, чьи губы сжались теперь в злобной гримасе?

— Ну что ты дуешься?

Она не ответила, и он тоже разозлился.

— Знаешь, если ты хочешь уехать без меня, я тебя не держу.

— Именно это я собираюсь сделать.

Его как будто ударили: ему и в голову не приходило, что она примет его предложение всерьез. Ну что ж! Пусть уезжает, сказал он себе. По крайней мере, теперь все ясно, нельзя больше обманывать себя, я для нее старая привычка, но она никогда меня не любила. Я знал это раньше, а потом забыл. Нужно вспомнить. Заковать сердце в броню. Предоставить ей делать все, что она хочет. И делать, что я хочу. Ему вспомнился сад в Вильневе, запах кипарисов и роз, пригретых солнцем. Вернувшись из Москвы, я уеду из Парижа, поселюсь в Провансе. Какой я глупец, что жертвую собой ради нее. Теперь каждый сам за себя.

Значит, правду говорят, что искреннее обще-

ние невозможно, что никто никого не понимает? — спрашивала себя Николь. Глядя на Андре, сидящего на Машином диване с рюмкой водки в руке, она думала, что надо пересмотреть все их прошлое. Они жили в параллельных мирах, каждый для себя, не зная друг друга, рядом, но не вместе. Перед тем как уйти из номера сегодня утром, Андре посмотрел на нее с нерешительным видом, вроде бы хотел объясниться. Она открыла дверь, он последовал за ней, но в такси оба молчали. Объяснять было нечего. Об этот гнев, об эту боль, об это очерствение сердца разбивались все слова. Какое пренебрежение, какое равнодушие! Перед Машей они весь день разыгрывали вежливую комедию. Как сказать ей, что я уеду без Андре?

Он пил уже четвертую рюмку водки, ну и пусть! В молодости, выпив, он становился романтичным и обаятельным, нес порой чушь, но ни язык, ни ноги не заплетались. Теперь же — с каких пор? — слова произносились с трудом, движения становились неловкими. Врач сказал, что алкоголь и табак ему вредны, что это смерть, которую он принимает по чайной ложке. И снова, заслонив гнев, в ней вспыхнул страх. «Он слишком много пьет». Она сжала губы. Ну и пожалуй-

ста, пусть постепенно убивает себя, если хочет, все равно они оба рано или поздно умрут, и в некоторых случаях что умереть, что жить — все равно. Было что-то старческое в том, как он пытался поддерживать с Машей разговор по-русски. Та смеялась его акценту, но они понимали друг друга с полуслова. Время от времени он с озабоченным видом трогал пальцем щеку. Николь хотелось закричать: «Мы не так стары, нет, еще нет!» Он изменился; она это заметила сейчас, в этой поездке — может быть, потому что видела его ежеминутно. Ему теперь хотелось лишь влачить свои дни. А раньше он любил жить. Но жизнь была для него непрерывной выдумкой, приключением — веселым, непредсказуемым, в которое он увлекал ее. Теперь ей казалось, что он прозябает: это и есть старость, я не хочу!

Что-то сдвинулось в ее голове. Как от удара в лоб, когда двоится в глазах и видишь два образа мира на двух разных уровнях, не разбирая, где верх, где низ. Два образа ее жизни, прошлого и будущего, не совмещались. Где-то затесалась ошибка. Этот миг казался иллюзией: это не он, это не она, эта сцена происходит не здесь… Нет, увы! Миражом-то было прошлое; это часто случается. Сколько женщин обманываются насчет

своей жизни — всю жизнь. Вот и ее жизнь была не той, какую она себе воображала. Андре был пылок, чувствителен, и она решила, что он любит ее нежно и страстно. На самом же деле он забывал о ней, когда не видел; и третий лишний между ними ему не мешал. Для нее присутствие Андре было неисчерпаемым источником радости, а для него ее присутствие — нет. Может быть даже я ему в тягость, и всегда была в тягость.

— Маша, надо уладить один вопрос: мой отъезд. У меня, видите ли, дела в Париже.

— Ах, не пори чушь! — перебил ее Андре и повернулся к дочери: — Она злится на меня за то, что я будто бы решил задержаться здесь, не посоветовавшись с ней. А я, сама понимаешь, ей об этом говорил.

— Конечно! — живо откликнулась Маша. — Первое, что он сказал мне, когда я предложила вам остаться подольше: я поговорю с Николь.

О, эти двое заодно!

— Он этого не сделал. Забыл мне сказать. И вдобавок лжет.

* * *

Опять эта голова Горгоны. Но впервые в жизни ему не было страшно. Она неправа, в корне

не права. Маша пыталась уладить размолвку, она отвечала сухо и с укоризной смотрела, как он наливает себе водки; зануда — вот кем она становится. Он проглотил водку залпом, по-русски, с вызовом.

— Можешь напиться вдрызг, мне совершенно все равно, — сказала она ледяным голосом.

— Прошу вас, не уезжайте так скоро в Париж, мне будет очень жаль, — обратилась к ней Маша.

— Вам, может быть, а ему — нет.

— Да, мне — нет.

— Вот видите. Хотя бы в этом мы согласны. Он сможет вылакать десяток бутылок водки, и никто не возразит.

— А мне мало радости видеть твою перекошенную физиономию. Думаю, небольшая разлука пойдет нам обоим на пользу. Когда я вернусь из Москвы — перееду в Вильнев. И не прошу тебя ехать туда со мной.

— Будь спокоен, и не подумаю с тобой ехать.

Она встала:

— Мы больше не можем видеть друг друга, вот давай и расстанемся.

И направилась к двери. Маша удержала ее за руку:

— Это глупо. Вернитесь. Объяснитесь.

— Ни мне, ни ему этого не хочется.

Хлопнула дверь.

— Ты должен был не дать ей уйти, — сказала Маша.

— Я пытался объясниться с ней сегодня утром; она слышать ничего не желает. В нее как бес вселился!

— Ты и правда многовато пьешь, — заметила Маша.

— Ладно. Убери эту бутылку.

Она убрала бутылку и снова села напротив Андре с озадаченным видом.

— Вы оба хорошо выпили в «Баку». Ты мог забыть ей сказать, а думал, что сказал.

— Или она не зафиксировала разговор, потому что сразу уснула, пьяненькая.

— Тоже может быть. Но как бы то ни было, вы оба честны друг с другом; так зачем же ссориться?

— Я не отрицаю, что она честна. Это она считает, что я лгу. Она не имеет права так думать.

Маша улыбнулась:

— Никогда бы не подумала, что вы можете так цапаться… как дети.

— В шестьдесят с лишним лет? Впрочем, зна-

ешь, кто такие взрослые и даже старики? Дети, раздутые возрастом.

Именно из-за их возраста эта ссора и была так отвратительна. Всю их прожитую гармоничную жизнь Николь взяла и предала. Если она усомнилась в его искренности, значит, он так и не снискал ее полного доверия и уважения. И потом, эта манера вечно следить за количеством выпитых рюмок: ради удовольствия позлить меня. Он не хотел больше о ней думать.

— Дай-ка мне «Правду» и давай поработаем.

— Сейчас?

— Я не пьян, — выпалил он слегка агрессивно.

Он начал переводить статью. Через некоторое время Маша встала:

— Я позвоню, узнаю, вернулась ли Николь.

— С какой стати ей не вернуться?

— Она была сама не своя.

— Во всяком случае, я с ней говорить не буду.

Николь не вернулась. Не вернулась она и час спустя, в полночь. Или, скорее всего, вернулась, но к телефону не подходила.

— Я поднимусь с тобой, — сказала Маша, остановив машину перед гостиницей. — Хочу удостовериться, что она в номере.

Дежурная по этажу дала Андре ключ. Значит,

Николь не было. От тишины и пустоты в номере у него сжалось сердце. Пары водки рассеялись, и вместе с ними гнев.

— Где она может быть?

Неприятно было представить ее блуждающей по этому спящему городу, где уже закрыты все рестораны.

— Есть одно место, где открыто, может быть, она там: бар «Националя».

— Едем туда, — решил он.

Николь сидела перед стаканом виски, уголки губ опущены, взгляд неподвижный.

Андре хотел было обнять ее за плечи, поцеловать. Но от первого же его слова ее лицо изменится, закаменеет. Он подошел к ней и робко улыбнулся. Лицо действительно изменилось, закаменело.

— Зачем вы пришли сюда?

Она выпила, слова тяжело перекатывались во рту.

— Мы приехали за тобой на машине.

Он легонько положил руку ей на плечо.

— Полно, давай выпьем по стаканчику вместе. Помиримся.

— Не имею ни малейшего желания. И уйду отсюда, когда захочу.

— Мы тебя подождем, — сказал он.

— Нет. Я вернусь пешком. Одна. Это уж слишком — преследовать меня даже здесь.

— Позвольте мне отвезти вас сейчас, — вмешалась Маша. — Пожалуйста, сделайте это ради меня. Иначе нам действительно придется ждать до двух часов ночи, а мне завтра рано вставать.

Николь поколебалась.

— Ладно. Но для вас. Только для вас, — сказала она.

* * *

Свет просачивался сквозь веки. Она не открывала глаз. Голова была тяжелая, и грустно — хоть помирай. Зачем она напилась? Ей было стыдно. Вернувшись, она побросала одежду куда попало и рухнула на постель. Ее затянуло в густую черноту, текучую и удушающую, в мазут, и утром она еле вынырнула из вязкой тьмы. Она открыла глаза. Он сидел в кресле у изножья ее кровати и смотрел на нее, улыбаясь:

— Милая, не будем же мы продолжать.

Это снова был он, она его узнала; прошлое и настоящее совместились в единый образ. Но в груди оставался стальной клинок. Губы ее дрожали. Напрячься еще сильней, пойти ко дну, утонуть

в густой черноте ночи. Или попробовать ухватиться за эту протянутую руку. Он что-то говорил ровным, умиротворяющим голосом; она любила его голос. Никто не может быть уверен в своей памяти, говорил он. Может быть, он и забыл ей сказать — но он не кривил душой, когда утверждал, что сказал. Она тоже ни в чем уже не была уверена. Она сделала над собой усилие:

— В конце концов, может быть, ты и сказал мне, а я забыла. Меня бы это удивило, но это не исключено.

— В любом случае нет никаких причин ссориться.

Она выдавила улыбку:

— Никаких.

Он подошел к ней, обнял за плечи, поцеловал в висок. Она обхватила его и, прижавшись щекой к его пиджаку, расплакалась. Теплые благодатные слезы потекли по щекам. Какое облегчение! Так тягостно ненавидеть того, кого любишь. Он шептал ей старые слова: «Родная моя, милая…»

— Я была глупа.

— А я легкомыслен. Я должен был сказать тебе еще раз. Я должен был понять, что ты скучаешь.

— О! Не так уж я и скучаю. Я преувеличила.

«Я скучаю оттого, что не бываю с тобой наедине» — эти слова она не решалась выговорить. Они прозвучали бы упреком. Или просьбой. Она встала и пошла в ванную.

— Послушай, — сказал он, когда она вернулась в комнату, — если ты хочешь уехать без меня, уезжай. Но если я уеду с тобой, Маша очень огорчится. Она предложила мне это вчера вечером. Но это будет нехорошо. Я бы очень хотел, чтобы ты осталась, — добавил он.

— Конечно, я останусь, — ответила она.

Ее приперли к стенке. Лишенная гнева, обезоруженная, она не нашла бы в себе сил совершить этот враждебный поступок — и такой бессмысленный! Что, спрашивается, ждало ее в Париже?

— Заметь, я тоже начинаю немного скучать, — добавил он. — Жить в Москве в качестве туриста не всегда весело.

— Все равно, ты же сам говорил, десять дней — это не трагедия, — отозвалась она.

В коридоре она взяла его под руку. Они помирились; но она испытывала потребность убедиться в его присутствии.

* * *

В темноте кинозала Андре украдкой поглядывал на профиль Николь. После их ссоры два дня назад она казалась ему немного грустной. Или он проецировал на нее свою собственную грусть? Что-то между ними изменилось. Может быть, она жалела, что согласилась остаться в Москве еще на десять дней? Или это он был ранен ее недоверием и гневом глубже, чем сам думал? Он никак не мог заинтересоваться историей летчицы на экране. В голове крутились невеселые мысли. Подумать только, Маша воображает, что стареть — значит обогащаться. Многие так думают. Годы дарят вину букет, металлу патину, людям опыт и мудрость. Каждый момент обоснован и оправдан следующим моментом, готовящим, в свою очередь, более совершенное будущее, в котором даже неудачи в конечном счете поправимы. «Каждый атом молчания — шанс зрелого плода»[9]. На эту приманку он никогда не клевал. Но и не видел жизнь на манер Монтеня как череду смертей: младенец — не смерть эмбриона, а дитя — не смерть

---

[9] Примечания: 9
Фраза из стихотворения Поля Валери.

младенца. Он и представить себе не мог смерти и воскресения Николь. Он отвергал даже мысль Фицджеральда: «Жизнь — процесс деградации». У него не было больше прежнего тела двадцатилетнего юноши, память немного сдала, но ущербным он себя не чувствовал. И Николь наверняка тоже. До последнего времени он был твердо убежден, что в восемьдесят лет они еще будут вполне похожи на себя прежних. Теперь он больше так не думал. Этот неистребимый оптимизм, вызывавший улыбку Николь, был уже не столь крепок, как раньше. Он выплевывал во сне зубы, ему грозила вставная челюсть: дряхлость маячила на горизонте. Он, по крайней мере, надеялся, что их любовь по-прежнему будет с ними; ему даже казалось, что состарившаяся Николь будет принадлежать ему полнее. И вот что-то между ними, похоже, разлаживается. Как различить в их жестах, в их словах, что было рутинным повторением прошлого, а что — ново и живо? Его-то чувства к Николь оставались такими же юными, как в первые дни. Но она? Не было слов, чтобы спросить ее об этом.

— Выберите себе книги, — сказала Маша Николь. Они так усердствовали, стараясь ее развлечь, что это немного раздражало. Вчера

был хороший фильм; но сегодня эта история летчицы — скука смертная. Читать, конечно, чем еще заняться? Андре пытался со словарем осилить «Правду». Она пробежала глазами корешки «Плеяды» на книжной полке. Романы, повести, мемуары, рассказы — она все их читала или почти все; но за исключением нескольких текстов, которые проходят в школе, что она помнила? Из «Манон Леско», которую она разжевывала по фразам, когда писала диплом, ей не помнилось в точности ни одного эпизода. Однако при мысли, что надо вновь прочесть эти стершиеся из памяти страницы, накатывала лень. Перечитывать ей было скучно. Читая, вспоминаешь прочитанное, или, по крайней мере, создается такая иллюзия. Но таким образом ты лишаешься того, что и составляет радость чтения: этого свободного соавторства с писателем, почти сотворчества. По-прежнему любопытная к своей эпохе, она всегда была в курсе новинок. Но эти старые книги, которые сформировали ее такой, какая она есть теперь, что они могли ей дать?

— Такое изобилие, только выбирай, — сказал Андре.

— Это нелегко.

Она взяла томик Пруста. Пруст — дело иное. Фразы, которые она знала наизусть, она ждала и узнавала их с тем же счастьем, что рассказчик маленькую фразу Вентейля[10]. Но сегодня ей было трудно сосредоточиться. Теперь не то, думала она. Она посмотрела на Андре. Вместе — что это такое? Была эта долгая совместная история, которая заканчивается здесь, такая же знакомая, такая же забытая, как и тексты, спрятанные под корешком книги. В Париже они были вместе даже на расстоянии километров. И даже, может быть, именно в те минуты, когда она, высунувшись из окна, смотрела ему вслед, он жил в ее сердце с самой волнующей очевидностью; силуэт уменьшался, исчезал за углом, набрасывая каждым шагом свой обратный путь; это пространство, пустое с виду, было силовым полем, неотвратимо возвращавшим его к ней как в свою естественную среду, и эта уверенность была еще трогательнее, чем тело из плоти и крови. А сегодня Андре — вот он, здесь, рукой достанешь. Но невидимый, неощутимый, словно между ними теперь был изолирующий слой: слой молчания. Сознавал ли это Андре? Вряд ли.

---

[10] Примечания: 10

Персонаж эпопеи М. Пруста «В поисках утраченного времени» (1913–1927).

Он ответил бы:

«Да нет же, все как прежде. Что изменилось?»

Бывали в их жизни ссоры, не без этого — но по серьезным причинам. Например, когда ему или ей случалось изменить, или из-за воспитания Филиппа. Это были настоящие конфликты, которые они разрешали бурно, но быстро и бесповоротно. На сей раз это был какой-то туманный вихрь, дым без огня; и именно в силу своей беспочвенности он до конца так и не рассеялся. Надо еще сказать, подумалось ей, что когда-то они пылко мирились в постели; в желании, смятении, наслаждении пустые обиды сгорали дотла; они вновь обретали друг друга, обновленные и счастливые. Теперь такой возможности у них не было. И Николь размышляла. Во многом она была в ответе за их разлад: она подумала, что он лжет. (А зачем было лгать ей раньше, пусть даже в мелочах?) Это и его вина тоже. Он должен был поговорить с ней снова, а не считать вопрос решенным в пару минут. Она была слишком недоверчива, а он невнимателен, да таким и остался — его мало беспокоило, что творится в голове у Николь.

Очерствел ли он? Под влиянием гнева она думала о нем много несправедливого. Мараз-

матик — нет. Сухарь — нет. Но может быть, уже не так восприимчив, как прежде. Естественно, время делает свое дело: сколько войн, кровопролитий, катастроф, несчастий, смертей. А я сама, когда умрет Манон, заплачу ли? «Некому больше будет назвать меня: деточка», — с грустью сказала она себе. Но это была эгоистичная мысль. Будет ли она сожалеть, что не увидит больше Манон? Андре и Филипп делали ее уязвимой. А остальные? И даже к Филиппу, даже к Андре она не испытывала сейчас никаких теплых чувств.

Пара, которая продолжает совместную жизнь только потому, что начала ее: это ли будущее их ждет? Есть дружба, есть привязанность, но нет истинной причины жить вместе: будет ли так? А ведь вначале эти истинные причины были. Она взбрыкивала, едва парень хотел хоть в чем-то взять над ней верх, а он, Андре, покорил ее своего рода простодушием, какого она ни у кого не встречала; его удрученный вид обезоруживал ее, когда он вздыхал: «Вы глубоко заблуждаетесь!»

От чрезмерной опеки матери, от пренебрежения отца эта рана мучила ее: почему я женщина? Мысль, что однажды ей придется лечь под муж-

чину, ей претила. Благодаря деликатности Андре, его нежности, он примирил ее со своим полом. Она с радостью приняла наслаждение. И даже через несколько лет захотела ребенка, а материнство стало для нее счастьем. Да, именно он и никто другой был ей нужен. А он — почему он ее полюбил, ведь обычно из-за своей агрессивности мужчинам она не нравилась? Быть может, жесткость, строгость матери, тяготившие его, были ему в то же время необходимы, и он нашел их в Николь. Она помогла ему худо-бедно стать взрослым. Как бы то ни было, ей всегда казалось, что ни одна женщина не подошла бы ему лучше ее. Ошибалась ли она? Со своей стороны, состоялась бы она полнее с другим мужчиной? Праздные вопросы. Знать бы только, имеют ли они смысл сегодня. Она не знала.

В этот день Маша была занята после обеда; она поручила Николь и Андре шоферу такси, дав ему подробные инструкции. Они вышли из машины в пригороде — здесь они уже побывали три года назад и обнаружили у самой городской черты столицы настоящую деревню. Они пошли по улице между старыми избами.

— Не спеши так, я хочу пофотографировать, — попросила Николь.

Она вдруг объявила, что будет обидно, если они не привезут из поездки ни одной фотографии, и одолжила у Юрия фотоаппарат. Вообще-то она никогда не фотографировала. Он смотрел, как она наводит объектив на избу. «Это потому, что ей скучно со мной», — подумалось ему. В такси они так и не нашли, что сказать друг другу. А между тем им было снова неплохо вместе, вот что самое печальное. Может быть, он стал скучным; даже на каникулах в Вильневе они не оставались наедине так часто, как здесь: она, верно, пресытилась его присутствием. А коль скоро она скучала, с ней тоже было не очень весело. Она сфотографировала вторую избу, третью. Люди, которые сидели, беседуя, на солнышке у дверей своих домов, косились на нее с недовольным видом; один из них что-то сказал, Андре не понял, что, но явно что-то нелюбезное.

— По-моему, им не нравится, что ты фотографируешь, — сказал он.

— Почему?

— Эти избы красивые, но сами они считают их убогими и подозревают, что ты, гадкая иностранка, хочешь увезти с собой картины их убожества.

— Ладно, прекращаю, — согласилась она.

И снова между ними повисло молчание. В сущ-

ности, зря он решил продлить эту поездку. Даже по отношению к Маше — что это ему дало? Все равно они расстанутся надолго: два года, три, больше? Да и захочется ли им вскоре увидеться вновь? Он показал ей Париж в 60-м, открыл с ней СССР в 63-м, это были большие праздники. На сей раз не было в нем — разве что в самом начале — той радости. Он очень любил дочь, она отвечала ему тем же — но мир они видели так по-разному, что никому из них, в сущности, не находилось места в жизни другого. Ощущение романтики, окрылившее его по приезде, мало-помалу рассеялось. Глупо было обижать Николь без серьезной причины… Пара реплик, брошенных просто так: «Вам ведь особо нечего делать в Париже? — Нечего».

— Вообще-то глупо, что мы здесь задержались, — сказал он.

— Если тебя это даже не радует, то и правда глупо, — ответила она.

— Ты жалеешь?

— Я жалею, если ты жалеешь.

Вот так. Опять они пошли по кругу. Что-то застопорилось в их диалоге; каждый понимал слова другого превратно. Наладится ли все со временем? Почему сегодня то же самое, что и вчера?

Причины-то не было.

Они прошли через ворота к церкви, которую Николь сфотографировала. Чуть дальше, на вершине холма, стояла еще одна церковь, замысловатой архитектуры. Она возвышалась над Москвой-рекой, за которой были видны широкая равнина и вдали — Москва. Они сели на траву и полюбовались видом.

«Ну вот. В кои-то веки мы одни, а сказать друг другу нечего, и даже не хочется поговорить», — с горечью подумала Николь. Она-то думала, что Андре понравится фотографировать вместе с ней московские виды, ведь почтовые открытки были такие скверные. А он не проявил никакого интереса, кажется, это ее увлечение даже его раздражало. Она легла на траву, закрыла глаза и вдруг представила: ей десять лет, она лежит на лугу, и у самой щеки так славно пахнет землей и травой. Воспоминание детства — почему оно так волнует? Потому что время растягивается до бесконечности, этот вечер теряется в дальней дали, а будущее перед ней — вечность. «Я знаю, чего мне не хватало в этой стране», — сказала она себе. Если не считать одной ночи во Владимире, ничто не тронуло ее до глубины души, потому что ничто не нашло здесь в ней отклика. В жизни ее

всегда волновали моменты, сутью которых были не они сами, а нечто другое, что представлялось ей смутным воспоминанием, предчувствием, материализацией мечты, ожившей картиной, образом действительности в себе, недоступной и таинственной. В СССР у нее не только не было корней, но она и не любила эту страну на расстоянии, как, например, Италию или Грецию. Вот почему здесь даже красоты были лишь тем, чем были. Она могла ими любоваться — но не очаровывалась. Поймет ли меня Андре? — спросила она себя. И угрюмо подумала, что ему это не интересно. Но все же быть вдвоем, наедине друг с другом, как ей давно хотелось, и даже не воспользоваться этим, было бы слишком обидно.

— Я только сейчас поняла, почему ничто в СССР меня так не трогает, — сказала она.

— Почему? — поинтересовался он.

Такой близкий, такой внимательный — он был таким со всеми, но с ней особенно, — что она удивилась, почему не сразу решилась с ним заговорить. В теплоте этого взгляда было легко высказать вслух то, что она говорила в своих внутренних монологах.

— В конечном счете эта поездка нас обоих слег-

ка разочаровала, — сказал он.

— Тебя — нет.

— Иначе, но тоже разочаровала. Я слишком многого не понимаю. И даже теперь, когда прошло уже больше месяца, я буду рад вернуться в Париж.

Он посмотрел на нее с легкой укоризной:

— Хотя я не скучал. Мне не бывает скучно, когда я с тобой.

— И мне с тобой тоже.

— Полно; ты же сама мне кричала: мне скучно!

В его голосе прозвучала неподдельная грусть. Она выкрикнула эти слова в гневе и уже забыла о них. А его они, похоже, глубоко ранили. Поколебавшись, она решилась.

— Я на самом деле очень люблю Машу. Но все-таки это не одно и то же — видеть тебя с ней или без нее. Я скучала оттого, что никогда не оставалась с тобой вдвоем. Тебе было все равно, а мне — нет, — добавила она уже с горечью.

— Но мы много раз оставались с тобой вдвоем.

— Не так уж много. И при этом ты утыкался в русскую грамматику.

— Что тебе стоило со мной поговорить?

— Тебе этого не хотелось.

— Конечно, хотелось! Мне всегда этого хочет-

ся. — Он задумался: — Странно! Мне-то казалось, что мы видимся куда больше, чем в Париже.

— Но всегда с Машей.

— Ты как будто так хорошо с ней ладила: мне и в голову не приходило, что она тебе в тягость.

— Ладила, да. Но когда между нами третий лишний, все иначе.

Он как-то странно улыбнулся:

— Я часто так думаю, когда ты берешь Филиппа с нами на уик-энд.

Она растерялась. Да, она часто просила Филиппа сопровождать их, это казалось ей в порядке вещей.

— Это совсем другое дело.

— Потому что он мой сын? Все равно ведь он третий лишний между нами.

— Больше он им не будет.

— И тебя это очень огорчает!

Неужели они снова поссорятся?

— Нет такой матери, которой бы нравилось, что ее сын женится. Но не думай, что я делаю из этого драму.

Они помолчали. Нет. Нельзя снова погрязнуть в молчании.

— Почему ты никогда мне не говорил, что при-

сутствие Филиппа бывает тебе в тягость?

— Ты так часто упрекала меня за собственничество! И потом, что бы я выиграл, лишив тебя Филиппа, если все равно одного меня тебе мало.

— Как это? Тебя мне мало?

— О! Ты довольна, что я присутствую в твоей жизни. При условии, что есть и многое другое: твой сын, друзья, Париж…

— Какую чушь ты несешь, — удивленно сказала она. — Тебе ведь тоже нужно многое, не только я.

— Я могу без всего этого обойтись, если у меня есть ты. Только с тобой, в деревне, я был бы совершенно счастлив. А ты мне однажды сказала, что умерла бы там от скуки.

Неужели это серьезнее, чем она думала, — эта его мечта о переезде в Вильнев?

— Ты предпочитаешь деревню, я предпочитаю Париж, потому что каждый любит места своего детства.

— Это не главная причина. Одного меня тебе мало, и когда я сказал тебе об этом на днях, ты даже не возразила.

Она это помнила. Она была в гневе. И ей — напряженной, зажатой — всегда было трудно выдавить из себя слова, которых он ждал.

— Я злилась на тебя. Не объясняться же мне было тебе в любви. Но если ты не думаешь, что дорог мне так же, как я тебе, значит, ты и правда глуп.

Она нежно улыбнулась. В ее словах была доля истины: Маша почти не оставляла их одних.

— В общем, — сказал он, — произошло недоразумение.

— Да. Ты думал, что я скучаю с тобой, а я скучала по тебе: это более лестно.

— А я был счастлив, что ты принадлежишь только мне, но тебе было невдомек.

— Почему же мы так плохо друг друга понимали? — спросила она.

— Разочарование испортило нам настроение. Тем более что мы не хотели себе в этом признаться.

— Следовало бы всегда во всем признаваться, себе и друг другу, — сказала Николь.

— Ты мне всегда во всем признаешься?

Она поколебалась:

— Почти. А ты?

— Почти.

Оба рассмеялись. Почему же им было так трудно вместе в последние дни? Теперь все снова казалось таким привычным, таким простым.

— Есть одна вещь, которой я тебе не сказала,

важная вещь, — продолжала она. — В Москве я вдруг почувствовала, что постарела. Я поняла, как мало времени мне осталось жить, — а это делает невыносимыми малейшие помехи. Ты-то не чувствуешь своего возраста — а я еще как.

— О! Я тоже чувствую, — отозвался он. — Даже очень часто думаю о нем.

— Правда? Ты никогда об этом не говоришь.

— Чтобы не огорчать тебя. Ты ведь тоже об этом не говоришь.

Некоторое время они молчали. Но это было совсем другое молчание: просто пауза в диалоге, который наконец-то завязался вновь и больше не прервется.

— Вернемся? — спросила она.

— Вернемся.

Он взял ее под руку.

— Нам очень повезло, что мы можем поговорить, — сказала она. — Есть пары, которые не умеют пользоваться словами, в их случаях недоразумения будут расти, как снежный ком, и дело кончится тем, что их отношения окончательно разрушатся.

— Я немного испугался, что между нами тоже что-то рухнуло.

— Я тоже.

— Но в сущности, это невозможно, — сказал он. — Мы с тобой обязательно должны были объясниться.

— Да. Это было неизбежно. В следующий раз я не стану пугаться.

Он сжал ее руку:

— Следующего раза не будет.

Может быть, и будет. Но это было не важно: даже заблудиться им не суждено вдали друг от друга. Он не сказал ей всего, что передумал за эти дни. Может быть, и она оставила при себе какие-то мелочи. Это тоже было не важно. Они вновь обрели друг друга. Он спросит, она ответит.

— Почему тебе кажется, что ты постарела? — спросил он.

Послесловие

«Недоразумение в Москве» «длинная новелла», написанная в 1966–1967 годах, должна была войти в сборник «Сломленная» (1968). Несмотря на очевидные достоинства, Симона де Бовуар исключила ее из состава книги, заменив на «Возраст скромности». Впервые она была опубликована только в 1992 году в журнале «Роман 20–50».

«Недоразумение в Москве» рассказывает

о супружеском и личностном кризисе (преодоленном in fine11), который переживают Николь и Андре, стареющая чета преподавателей на пенсии, во время поездки в Москву: они приезжают туда к Маше, дочери Андре от первого брака. Избранный автором способ изложения идеально подходит к поднятой теме. Симона де Бовуар чередует в быстром ритме, в коротких эпизодах (всего их двадцать четыре и распределены они равномерно), точки зрения Николь и Андре: читатель занимает, таким образом, привилегированное положение по отношению к каждому из партнеров, замыкаясь на время в его превратных толкованиях, его тайных разочарованиях, его несоразмерных обидах. Этот прием позволяет писательнице к тому же параллельно развить точку зрения мужчины и точку зрения женщины, как в их различиях (интересы Андре ориентированы на политику, Николь больше сосредоточена на чувствах), так и в сходстве. Симона де Бовуар уже использовала такое двойное фокусирование в предыдущих романах («Кровь других», «Мандарины»), но никогда еще не делала этого с такой интенсивностью и такой взаимодополняемостью.

В новелле — об этом говорит уже название —

тесно переплетаются личная история с историей коллективной: супружеское недоразумение происходит в поездке, принесшей политическое разочарование. Она предоставляет таким образом увлекательное критическое свидетельство о Советском Союзе середины шестидесятых годов. Симона де Бовуар вдохновилась их с Сартром регулярными визитами в СССР по приглашению Союза писателей с 1962-го по 1966 год. (Сартр еще встречался там с Леной Зониной, своей русской подругой, некоторые черты которой узнаваемы в Маше.) Таким образом, через конкретный опыт главных героев, внимательных к зрелищам и ощущениям, мы оцениваем преобразования страны и переживаем многочисленные заботы, связанные с бюрократическим абсурдом. Культурная ситуация в СССР и его внешняя политика, в которой доминирует в то время китайско-советская напряженность, рождают споры между Машей и ее отцом, который в конечном счете разочарован, не найдя чистого социалистического идеала во вновь открытой им Москве. Критика советского режима в «Tout compte fait»[11], написанном в 1971-м, после вторжения

[11] Примечания: 11

Автобиографическая проза, название можно перевести как «В итоге». Здесь и далее, если не указано иное, *прим. ред.*

в Чехословакию, будет более резкой, и больше страниц писательница посвятит проблемам свободы. Тем не менее и эта подробная картина положения в СССР остается ценным документом эпохи.

Выходя за рамки семейного кризиса, Симона де Бовуар затрагивает куда более глобальные темы. Женские образы иллюстрируют разные аспекты женской судьбы: несмотря на жажду эмансипации и бои своей юности, Николь, слишком поглощенная семейной жизнью, сетует на неосуществленность своих чаяний. Ирен, невеста сына, воплощает новое поколение, которое, желая все примирить, ничего не углубляет. Непринужденность и независимость Маши проистекают из равенства полов в Советском Союзе. Проблема коммуникабельности проходит красной нитью сквозь всю новеллу, исследующую, однако, в основном горечь старения: дряхление тел, отказ от секса, забвение планов, утрата надежд. Задумываясь о возрасте, герои приходят к вопросам о времени, отдавая в финале дань Прусту. Их смятение зачастую придает лирическую, особенно трогательную нотку всем этим размышлениям. Нарастание «недоразумения» ведет к все более глубокому погружению в прошлое и приводит

в конечном счете к размышлениям о смысле человеческой жизни: «Страх обуял ее: страх жить куда нестерпимее, чем страх умереть». Вся эта проблематика и все темы тесно взаимосвязаны и переплетены. Маша, гид и переводчица12, чье присутствие вызывает кризис и прозрение, занимает центральное место на этом полотне.

В «Возрасте скромности», заменившем «Недоразумение в Москве», Симона де Бовуар вновь выводит стареющую чету, столкнувшуюся с недоразумением, и воспроизводит, адаптировав их к контексту, многие пассажи первой новеллы. Но она исключает всю советскую линию и пишет на сей раз исключительно с точки зрения женского персонажа, находящегося в кризисе: этот выбор позволяет ей легче включить новый рассказ в «Сломленную». Однако со временем богатство «Недоразумения в Москве» становится все очевиднее и требует самостоятельной публикации этого текста.

Элиана Лекарм-Табон